

Сканирование и форматирование: [Янко Слава](#) (Библиотека [Fort/Da](#)) ||
slavaaa@yandex.ru || yanko_slava@yahoo.com || <http://yanko.lib.ru> || Icq# 75088656 ||
Библиотека: <http://yanko.lib.ru/gum.html> || Номера страниц - ...
update 09.05.06

Jean Baudrillard
De la Seduction

EDITIONS GALILEE

Жан Бодрийяр
Соблазн

Перевод с французского Алексея Гараджи



AD MARGINEM

Художественное оформление — Андрей Бондаренко

Данное издание выпущено в рамках программы Центрально-Европейского Университетат "Translation Project" при поддержке Центра по развитию издательской деятельности (OSI — Budapest) и Института "Открытое общество. Фонд Содействия" (OSIAF — Moscow)

Издание осуществлено в рамках программы "Пушкин" при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России

Ouvrage realise dans le cadre du programme
d'aide a la publicaton Pouchkine avec le soutien du Ministere des Affaires Etrangeres francais et
de l'Ambassade de France en Russie

ISBN 5-93321-017-X

© Editions Galilee. Paris, 1979.

© Издательство Ad Marginem. Москва, 2000.

Электронное оглавление

| | |
|--|------------|
| Электронное оглавление..... | 2 |
| Содержание..... | 3 |
| Вхождение в конечное | 4 |
| Жан Бодрийяр. Соблазн..... | 19 |
| I. Эклиптика пола | 22 |
| Вечная ирония общественности | 32 |
| Порно-стерео | 59 |
| Seducere / Producere..... | 73 |
| II. Поверхность бездны | 94 |
| Священный горизонт видимостей..... | 94 |
| Обманка, или Очарованная симуляция..... | 105 |
| I'll be your mirror | 116 |
| Смерть в Самарканде..... | 124 |
| Тайна и вызов | 134 |
| Личина обольстительницы..... | 143 |
| Ироническая стратегия обольстителя | 164 |
| Страх быть обольщенным | 199 |
| III. Политическая судьба соблазна | 215 |
| Страсть правила | 215 |
| Дуальное, полярное, дигитальное | 253 |
| ДУАЛЬНОСТЬ ПОЛЯРНОСТЬ ДИГИТАЛЬНОСТЬ | 255 |
| Игровое и холодный соблазн | 257 |
| Холокост..... | 262 |
| Телефатическое..... | 268 |
| Клон..... | 283 |
| Соблазн — это судьба..... | 293 |
| От переводчика..... | 296 |
| WWW..... | 302 |

Содержание

Елена Петровская. Вхождение в конечное.....?

Жан Бодрийяр. Соблазн

| | |
|---|------------|
| 1. Эклиптика пола..... | 29 |
| Вечная ирония общественности..... | 41 |
| Порно-стерео..... | 68 |
| Seducere / producere..... | 82 |
| 2. Поверхностные бездны..... | 103 |
| Священный горизонт видимостей..... | 105 |
| Обманка, или Очарованная симуляция..... | 116 |
| I'll be your nigtor..... | 127 |
| Смерть в Самарканде..... | 135 |
| Ироническая стратегия обольстителя..... | 175 |
| Страх быть обольщенным..... | 210 |
| 3. Политическая судьба соблазна..... | 227 |
| Страсть правила..... | 229 |
| Игровое и холодный соблазн..... | 271 |
| Соблазн — это судьба..... | 308 |
| <i>Алексей Гараджа. От переводчика.....</i> | <i>313</i> |

Вхождение в конечное

Есть способ чтения книг, оставляющий их восприятие открытым: это значит, что неявные отсылки остаются невосстановленными, что книга не попадает в ряд других — ей предшествующих и ее продолжающих, — что сами понятия, наконец (если издание является "научным"), так и не обретают своей непреложной окончательности. Короче, от книги в целом остается лишь некое ощущение, возможно даже некий соблазн, не требующие никакой определенности, — печать стиля, память настроения, неполный образ разыгранных тем. (Именно "разыгранных" — темы становятся скорее музыкальными, и их предписанный порядок растворяется в *моей* комбинаторике: я помню только те из них, что меня зацепили и увлекли благодаря тому, что затронули *мои* интерес.) Можно ли надеяться прочитав так Жана Бодрийера, в беспамятстве или неведении, прочитав "Соблазн" *самим соблазном* — хотя для философа это важное понятие, далекое от психологических нюансов межличностных взаимоотно-

7

шений? (Но и верное им—в своем частном значении; только в этом случае речь пойдет о другом градусе соблазна, о соблазне, совращенном со своего истинного пути: вот почему тут его фактическое содержание — уклонение от растущих ставок и рискованной случайности Игры.) Можно ли, иными словами, извлечь (дополнительный) смысл из бодрийяровской манеры письма, самой по себе завораживающей? По-видимому, да, даже если этим и будет нанесен ущерб выстроенной философом обобщающей теоретической модели. (Впрочем, ее контуры проступают уже при фрагментарном чтении:

ясно, например, что знак наделяется в современную эпоху небывалыми характеристиками — он существует сам по себе, не отсылая более ни к референту, ни к реальности. С другой стороны, потоки знаков, образующие код, есть способ политэкономического функционирования развитой системы: эта система уравнивает знаки и товары и довольствуется производством одних лишь эффектов реальности. Тотальная симуляция. Засилье гиперреального.)

В этой книге сам соблазн в его предельном выражении как будто постоянно ускользает. Мы не знаем больше *такого* соблазна: дуально-дуэльного, агонического, или состязательного, соблюдающего условное правило в противовес необходимому закону. Мы не знаем соблазна брошенного вызова, на которой обязателен неравноценный ответ. Иными

8

словами, не знаем соблазна как судьбы. Но когда его знали? Да и как мы можем знать о нем, если все, что от него осталось, это притчи, философские повествования, литературные рассказы? Если это (дабы завершить короткий список) искусство дарящих чистую видимость обманок, азартные игры и отчасти травестийный опыт? Короче, если все, что окружает нас сегодня, это прирученный, "микшированный" соблазн, превратившийся в разновидность ностальгии? Ностальгию вызывает тайна, которую отняли, смысл, который стал бессмыслицей, глубина, совпавшая с поверхностью. Ее вызывает дальнейшее наращивание измерений зримости и слышимости (мира и вещей), когда доступным становится все, включая собственные, столь необходимые для жизни, фантазмы. (Действительно, разве не вызывает клонирование с его перспективой безудержного умножения Одного и Того Же ностальгию по Другому — и в первую очередь в самом себе? Скажем больше: этот Другой — двойник, тень, бессознательное, то есть отчужденный образ самого себя, который предстояло заново присвоить, — и был условием формирования личности, существовавшей до сих пор. Смерть окончательно изгоняется из жизни даже в этом символическом обличье.) Итак, когда же был известен "настоящий" соблазн? Бодрийяр сознательно не строит никакой генетической схемы. Лишь раз он говорит о переходе от

9

ритуального к социальному и от последнего к... Но дальше следует серия вопросительных знаков, символизирующих бессмысленность любых прогнозов. Ясно, однако, что ритуальное, или церемониальное, предшествует социальности. Это способ организации так называемых примитивных обществ, основанных на символическом обмене. (Однако для кого примитивных? Разве нет в этом определении высокомерия культуры прогресса, культуры, не менее ограниченной во времени и по сфере своего (воз)действия, нежели те самые общества, которые она стремится встроить в собою же детерминированный эволюционный ряд?)

Мы понимаем, что символический обмен — иное взаимодействие людей, вещей и знаков по сравнению с известным нам сегодня. Всякая произвольность знака снимается взаимным обязательством — правилом, производным от конкретных ситуации и статуса. Можно сказать, что обязательство и есть знаковая референция, что правилом задаются как сами коммуниканты (вернее, партнеры), так и их отношение. Знаки в некотором смысле "связаны", но в этой связанности обратимы: дар оборачивается неэкономическим отдаром, обмен — жертвоприношением, жизнь — смертью, а время — циклической фигурой. Но все это — скорее проекция бодрийеровской "обратимости" ("реверсии") как ключевого понятия в общества прошлого: в книге мы

10

не найдем развернутых данных касательно ритуальных сообществ. Лишь намек на такое их устройство, где нет ни прибыли, ни производства — "экономики", организованные по принципу растраты, общества, где время циркулирует, объединяя мертвых и живых (и с этими мертвыми приходится состоять в постоянном контакте, разом задабривая их и пугая, словом, соблазняя так, чтобы отвлечь от живущих). Повторяем: никакого этнографического материала, только аура иных присутствий, угадываемых в формализованных правилах игры (неважно, конкретной или обсуждаемой как самый механизм ритуала). Из чего напрашивается вывод: соблазн (ритуал) в своей чистой форме (если угодно — соблазн как таковой) интересен Бодрийяру не как явление истории. Да и какой, спросим мы себя, истории, когда первобытные общества — не столько начальный ее этап, сколько системы (за неимением лучшего слова), *рядоположенные* нашей собственной, существующие не "до" или "перед", а в измерении своеобразной параллельности, как раз и позволяющей задействовать их в качестве базовой объяснительной модели? Даже если Бодрийяр и внимателен к смене форм знакового обращения, в книге о соблазне его историзм как будто немного подавлен: он говорит преимущественно из сегодняшнего дня и о дне сегодняшнем. Ретроспективные наброски и близкие к антиутопии прогнозы —

11

лишь щупальца, которыми обрастает тотальное в своей совершенности сегодня.

Прельщают видимости (apparences). Именно там, где отсутствует одно из измерений реальности (как в обманке) и где одновременно создается ироническое ощущение ее переизбытка, по-прежнему господствует соблазн. Видимости генерируют эффект своеобразного коллапса восприятия: надвигаясь со всех сторон с головокружительной быстротой, опустошенные знаки (например, изображенные предметы) лишают субъект возможности удерживать их в привычном перспективном поле взгляда и интерпретации. Остается лишь тактильное ощущение вещей, нечто сродни галлюцинации, предшествующей представлению (в том числе и зрелищу) и упорядоченной деятельности сознания. Ощущение реальности всегда ирреально — ее нельзя застичь напрямую. Напрямую действует все то, что в конечном счете противостоит реальному: начиная с простой психической нейтрализации внешних воздействий, с вытеснения опыта как сиюминутного переживания (он будет возвращаться лишь потом, в искаженном виде образа или же симптома) и кончая концептуальным членением фрагментов действительности и самого восприятия. И даже если вслед за Бодрийяром усомниться во фрейдовской модели вытеснения, равно как в правоте психоанализа вообще, имеющего дело с тем, что подлежит

12

разоблачению — выведению на поверхность, прояснению, а значит, подчинению строю истины, полагаемой в качестве конечной цели, — даже в этом случае преодоления бинарных оппозиций (сознание — бессознательное) приходится признать, что непосредственного доступа к реальности мы не имеем. Реальность может тенью промелькнуть в опустошенном знаке, и реальность эта — заключенный в нем соблазн. Вернее так: нет никакой иной реальности, кроме сугубо постановочной, и именно обманка своей реалистической избыточностью дает нам это недвусмысленно понять. (Впрочем, неверно говорить о реализме: то, что мы видим, находится по ту сторону эстетических норм. Обманка — не живопись, это неживописное в самом искусстве запечатлеть красками на холсте. Что же запечатлевается? Отнюдь не функциональные объекты, но какие-то предметы, пришипленные к деревянной вечности — плоскому обездвиженному фону без всякой меры глубины. Обманка — то, что относится к *условию возможности* зримости, а не к изображению чего-то. Если обманка и выделяется в жанр, то этот жанр всегда проблематичен: живопись, единственным обоснованием которой является (оптический) обман.)

Бодрийяр, следовательно, заостряет выдвинутый нами тезис: реальность — лишь эффект реальности, производное от некоего уговора, это принцип, упо-

13

рядочивающий наши отношения в мире и с миром. Можно ли в таком случае постулировать *реальность соблазна*? Реальность видимостей, игры, правила, иррациональных ставок, смертельного в своем исходе поединка? Реальность жертвенного отношения, отношения не экономии (психологической, эротической и т.п.), но траты, при котором рисунок действий соблазителя — не что иное, как зеркальное отражение готовой обольститься жертвы? Можно ли наделять реальностью этот жертвенный пакт, объединяющий дуэлянтов, это следование ритуалу, отменяющее в своей основе закон (когда есть правило и следование таковому, вопрос о законе и его трансгрессии отпадает сам собой: внутри правила нет ни одной черты, которую можно было бы переступить, а соблюдение любого имманентного правила автоматически выводит за рамки запредельного сообществу закону)? Скажем сразу: такая реальность для нас маргинальна. Реальность соблазна не только потеснена и ограничена современным обществом (подчинение игры как таковой педагогическим целям; специальные места для азартных игр и еще более регламентированные — для общения трансвеститов), но сегодня и она неустанно переводится в *знаки*, в эдакий смягченный соблазн дигитальной, то есть состоящей из сигналов, субъективности. Холодный соблазн. Эта метафора (оксюморон?) возникает из противопоставления нынеш-

14

них форм обольщения страсти, сопровождающей "высокий" соблазн. Вместо вызова — подключение к сетям, становление телеэкраном, уже не воспроизводящим (если допустить, что такое было), а порождающим события. Узнать что-либо из телепередач — не пережить явление заново либо впервые (пример: специальная программа о Холокосте), но предать его окончательному забвению, на сей раз эстетическому (ничего недосказанного, никакой вины, никакой исторической несправедливости — все разрешается в универсальности телесообщения). Симуляционные потоки, замкнутые сами на себя. К этому следует прибавить и утрату тела в качества последнего прибежища соблазна: теперь усилиями новых технологий тело превращено в считываемый и воспроизводимый генетический код. (Клонирование: никаких мук прокреации, но и никакой игры случайности. Из единственной клетки — материнской ли, отцовской — получается идеальный двойник. Конец нарциссизма: Другой и есть я в собственном смысле этого слова.)

Мы сказали: реальность соблазна. Уточним: это та единственная реальность, которая и занимает Бодрийера. Говоря так, мы имеем в виду не столько сущее, или то, что наличествует "объективно", сколько способ преломления мира в сознании субъекта. Утверждая, что соблазн обволакивает реальность, никогда с ней не смешиваясь, что он создает свое-

15

образную пустоту в сердце власти — но точно так же и производства, этого выведения на свет всего и вся, — разводя тем самым соблазн и истину, соблазн и необратимость смысла (смысл может быть только линейно наращиваемым), Бодрийяр, на наш взгляд, выступает уже не просто критиком социальной системы технотронного капитализма, но дает философский абрис некоей фундаментальной вписанности человека в мир, погребенной под позднейшими слоями познавательных рационализаций. Поэтому не будем множить реальности (есть еще и гиперреальность как отражение перцептивно-познавательной картины современности) и согласимся с тем, что соблазн, как он употребляется в одноименной работе, есть понятие временное лишь в том смысле, в каком оно может быть отнесено к самой *структуре субъективности*. Не более того. Что интересно в названной структуре, так это ей присущая безличность. Тонкий анализ киркегоровского "Дневника обольстителя" вскрывает соблазнение как некую "драматургию без субъекта", или же такое "ритуальное исполнение формы", когда "субъекты поглощаются без остатка". Отсюда — понятия вздуваемых ставок, состязательного поединка, или пакта, связывающего обольстителя и жертву (впрочем, последняя сама есть вызов — вызов обольстителю; включенная в сверхчувственный "жертвенный процесс", она требует от обольстителя только одного:

16

чтобы он был *проводником* (оператором) этого смертельного процесса. Оба принадлежат не себе, но имманентному рисунку Ритуала.).

Часто та же идея преподносится как обратимость знаков. Обратимость знаков есть фигура полемическая по отношению к их "нормальному" культурно-лингвистическому функционированию: знаки полярны и в совокупности образуют упорядоченные коды. Трудно вообразить знаки подвешенные, "отпущенные на волю", освобожденные от служения интерпретации, — особенно это трудно сделать в обществе "сверхобозначения", в том непристойном, по определению Бодрийяра, обществе, где все без исключения переводится в "видимый и необходимый знак". Обратимость знаков — преодоление (хотя бы только мыслительное) "естественного порядка" вещей с его производством, враз значимых и значащих, объектов, удовольствий и желаний. Обратимость знаков — это, в частности, соблазн, возвращенный психоанализу (и взрывающий его тем самым), или это суггестивная сила анаграмм, так и пребывающих по сей день втуне (Бодрийяр напоминает, что в качестве наук и психоанализ и лингвистика зиждятся на "неудаче": Фрейд отказывается от теоретической работы с соблазном, Соссюр — от своего первоначального увлечения анаграммами, этой неуправляемой глубиной языка). Словом, обратимость знаков есть момент затемненности и нео-

17

беспеченности смысла, та самая смысловая недостаточность, а лучше сказать текучесть, открытость, которая и является конститутивной для субъекта. (Заметим: субъект не "порнографичен", порнографична познавательная установка, в соответствии с которой он полностью лишает(ся) "тайны". Иначе говоря невидимого, — в первую очередь в самом себе.)

Именно с этих позиций возможен разговор о женственности — первое, что без труда приходит в голову в связи с "материей" соблазна (Бодрийяр и начинает свое рассмотрение отсюда). Женское — уже не пол в качестве знакового образования (удвоение биологического знаками социального). Женское — то, что располагается по ту сторону любой выявляемой и в конечном счете субстантивируемой "женственности" — будь то вытесненной или победившей. Попытка придать женскому "место", фактически утверждает Бодрийяр, есть его радикальная нейтрализация в терминах "мужских" — если угодно метафизических — оппозиций: даже торжествующая "женственность" в лице отдельных разновидностей феминизма, озабоченных сексуальным равноправием с акцентом на различие (женское желание и удовольствие) — не что иное, как подыгрывание все той же системе (производственной = естественной) функциональности, отдающей приоритет всеобщей *экономии* пола. В то время как само

18

женское никогда не принадлежало дихотомии полов, не зависело от форм своего подчас уму непостижимого воплощения (да и что хорошего в том, что сегодня, к примеру, "феминизирована" вся область массового потребления: "женскими" качествами доступности, безотказности, непрерывной готовности к использованию автоматически наделяются многие из рекламируемых товаров?). Женское — "принцип неопределенности". Торжество видимостей. Природа соблазна. (Можно было бы так сказать, если бы не явная идиосинкразия Бодрийера по отношению к природному как дополняющему производству.) Поэтому женское допустимо представить как своеобразную *матрицу субъективности*. (Matrice, matrix: матрица, штамп, но и матка — утвердительная многозначность, в свое время обыгранная Деррида.) Субъективность, о которой мы говорим, не является портретом, списанным с натуры, или набором качеств, позволяющих сконструировать некий обобщенный современный типаж. "Женское", намекает Бодрийер, имеется в каждом; поскольку же это вовсе не проблема пола, но "вечная ирония общественности" (Гегель), то его можно считать "архаической" формой субъективности — даже "архесубъективности" (если подхватить дерридианский мотив, отсылающий к никогда не бывшему истоку), — когда сама эта форма, верная искусству соблазна, остается в некотором роде скрытой

19

от глаз. Это то, что действительно не относится к порядку представления и что тем не менее любой порядок предопределяет — но не как детерминация, а как судьба. То, что позволяет мыслить *по-другому*, в том числе и субъективность, в ее потребности и невозможности совладать с самой собой. Обольщение собственным образом, самообольщение, как (инволюционное) погружение в смерть. Вхождение в конечное. Вот чем, по-видимому, так прельстительно "женское", так прельстителен соблазн.

Однако вопрос, поставленный нами в начале — относительно смыслопорождающих эффектов бодрийяровского письма — так и остался, похоже, открытым. Невольно для себя мы стали прочерчивать пути понимания — усилие, с необходимостью привносящее некий порядок извне. Между тем, и основные термины философа — видимости, (гипер)-реальность и др. — находятся в поле своеобразной смысловой обратимости: за ними не закреплена единственная и исчерпывающая ценность (за исключением разве что сугубо познавательной). Даже соблазн, при всех указаниях на возможную сферу применимости этого понятия, продолжает звучать чем-то вроде заклинания, метафорически выраженного предостережения не доверять — собственному пониманию. А это означает: все время отсрочивать момент "присвоения" соблазна, в том числе и как

20

"теории", отодвигать этот невидимый и неосязаемый рубеж, превращая его в горизонт еще не состоявшейся интерпретации. И все же мы смеем надеяться, что траектории, намеченные нами, не столько самостоятельны, сколько во многом производны от тематических и терминологических колебаний текста, от ощущения соприкосновения с тем, что плохо поддается называнию — даже если эта фигура, этот контур "субъекта без субъекта" и обозначен с самого начала как "соблазн".

Елена *Петровская*

Жан Бодрийяр. Соблазн

Неизбывная судьба отягчает соблазн. Религии он представлялся дьявольским ухищрением с колдовскими либо приворотными целями. Соблазн — это всегда соблазн зла. Или мира. Мирской *искус*. И это проклятие, наложенное на соблазн религией, без изменений воспринимается моралью и философией, а ныне подхватывается психоанализом и дискурсом "освобождаемого желания". Может показаться парадоксальным, что сегодня, когда так вырос спрос на секс, на зло, на перверсию, когда все некогда проклятое справляет возрождение, часто так или иначе запрограммированное, соблазн все-таки по-прежнему остается в тени, а то и вовсе окутывается мраком.

Ведь в XVIII веке о нем еще говорили. И не просто говорили: вызов, честь, соблазн — все это в аристократической культуре вызывало самую жгучую заинтересованность. Буржуазная Революция кладет этому конец (последующие революции покончили с этим бесповоротно — любая революция первым делом кладет конец соблазну видимостей). Буржуазная эпоха всецело предана природе и производству, а эти вещи весьма чужды

25

или даже определенно смертельны для соблазна. Поскольку же и сексуальность, как говорит Фуко, вырастает из процесса производства (дискурса, речи и желания), то ничего удивительного, что соблазн был еще больше оттеснен ею в тень. Вечно нам подсовывают эту природу — то, бывало, добрую природу души, то доброе естество материальных вещей, а то еще психическую природу желания, — природа добивается своего безоговорочного исполнения через все мыслимые метаморфозы вытесненного, через освобождение всех мыслимых энергий — психических, социальных, материальных.

Но соблазн никогда не вписывается в природный или энергетический строй — он всегда относится к строю искусственности, строю знака и ритуала. Вот почему все крупнейшие системы производства и толкования неизменно исключали его из своего концептуального поля — к счастью для соблазна, поскольку именно извне, из этой глубокой заброшенности он продолжает их преследовать, угрожая низвергнуть. Соблазн всегда подстерегает случай разрушить божественный строй, пусть даже и трансформированный в строй производства и желания. Для всех ортодоксий соблазн продолжает быть пагубным ухищрением, черной магией соращения и порчи всех истин, заклятием и экзальтацией знаков в злокозненном их употреблении. Всякому дискурсу угрожает эта внезапная обратимость или поглощение в собственных знаках, не оставляющее и следа смысла. Вот почему все дисциплины, в качестве аксиомы полагающие связность и

целесообразность своих дискурсов, могут лишь гнать и заклинять соблазн. Вот где сходятся соблазн и женственность, вот где они всегда смешивались. Потому что любую мужественность всегда преследовала эта угроза внезапной обратимости в женственное. Соблазн и женственность неизбежны — ведь это обратная сторона пола, смысла, власти.

Сегодня экзорцизм соблазна становится еще более ожесточенным и систематическим. Мы вступаем в эпоху окончательных решений — сексуальная революция, производство, контроль и учет всех лиминальных и сублиминальных наслаждений, микропроцессорная обработка желания, чьим последним аватаром предстает женщина — производительница себя самой как женщины и как пола. Конец соблазна.

Или торжество соблазна *мягкого* — бесцветная, рассеянная феминизация и эротизация всех отношений внутри размякшей социальной вселенной.

Или же ни то, ни другое. Потому что ничто не превзойдет соблазн — даже тот строй, который его уничтожает.

I. Эклиптика пола

Нет сегодня менее надежной вещи, чем пол — при всей раскрепощенности сексуального дискурса. Вопреки буйной пролиферации фигур желания — нет сегодня ничего менее надежного, чем желание.

Что до пола, то и здесь пролиферация близка к полному распылению. Вот в чем секрет этой эскалации производства пола, знаков пола, вот откуда этот гиперреализм наслаждения, особенно женского: захватив политическую и экономическую рациональность, принцип неопределенности распространился и на рациональность сексуальную.

Стадия освобождения пола есть также стадия его индетерминации. Нет больше никакой нехватки, никаких запретов, никаких ограничений: утрата всякого референциального принципа. Экономическая рациональность держится лишь за счет нищеты, она улетучивается с осуществлением своей цели, как раз и состоящей в ликвидации даже призрака нищеты. Желание тоже держится только благодаря нехватке. Когда же оно всецело переходит в запрос, безоговорочно операционализиру-

31

ется, желание утрачивает реальность, поскольку лишается воображаемого измерения, оно оказывается повсюду — но лишь в качестве обобщенной симуляции. Этот-то призрак желания и обретается в почившей реальности пола. Секс повсюду — только не в сексуальности (Барт).

Перемещение центра тяжести сексуальной мифологии на женское совпадает с переходом от детерминации к общей индетерминации. Женское замещает мужское, но это не значит, что один пол занимает место другого по логике структурной инверсии. Замещение женским означает конец определимого представления пола, перевод во взвешенное состояние закона полового различия. Превознесение женского корреспондирует с апогеем полового наслаждения и катастрофой принципа реальности пола.

И женственность пылает в этом смертоносном вихре гиперреальности пола, как некогда, но совсем иначе, горела она в иронии и соблазне.

Прав Фрейд: существует только одна сексуальность, только одно либидо — мужское. Сексуальность есть эта жесткая, дискриминантная структура, сконцентрированная на фаллосе, кастрации, имени отца, вытеснении. Другой просто не существует. Без толку пытаться вообразить нефаллическую сексуальность, без перегородок и демаркаций. Без толку пытаться в этой структуре пе-

32

ретащить женское по другую сторону черты, перемешать термины оппозиции — структура либо остается прежней:

все женское абсорбируется мужским; либо просто разваливается, и нет больше ни женского, ни мужского:

нулевая ступень структуры. Именно это, кажется, и происходит сегодня, причем все сразу: эротическая поливалентность, бесконечная потенциальность желаний, подключения, преломления и напряжения либидо — все эти многочисленные варианты одной освободительной альтернативы, явившейся из пределов психоанализа, освобожденного от Фрейда, или же из пределов желания, освобожденного от психоанализа, все они за внешним накалом и кипением сексуальной парадигмы смыкаются в направлении индифференциации структуры и ее потенциальной нейтрализации.

Для того, что зовется женским, ловушка сексуальной революции состоит в том, что оно запирается в этой единственной структуре, где обречено либо на негативную дискриминацию, когда структура крепка, либо на смехотворный триумф, когда структура ослаблена.

Однако на самом деле женское вне этой структуры, и так было всегда: в этом секрет силы женского. Подобно тому как о вещи говорится, что она длится, поскольку ее существование неадекватно ее сущности, так же о женском следует сказать, что оно соблазняет, поскольку никогда не оказывается там, где мыслится. Нет его, стало быть, и в той истории страданий и притеснений, которую о нем распространяют: историческая голгофа

33

женщин — только маска, под которой ловко прячется женское. Маска рабской зависимости. Но к этой уловке женское вынуждается лишь в той самой структуре, где его определяют и вытесняют, где сексуальная революция определяет и вытесняет его еще более драматично — но что за странная абберрация как нарочно (нарочно для кого? понятно, что для мужского) заставляет нас верить, что здесь-то и разворачивается вся история женского? Вот оно, вытеснение, уже в полном объеме присутствующее *в рассказе о* сексуальной и политической нищете женского, оставляя за скобками любой иной способ проявления силы и суверенности.

Но есть альтернатива сексу и власти, о которой психоанализ ничего не может знать, потому что его аксиоматика носит сексуальный характер, и нет сомнений, что альтернатива эта действительно относится к строю женского, понятого уже за рамками оппозиции мужское/женское — мужской по существу, сексуальной по назначению, не допускающей ни малейшего нарушения, поскольку в таком случае она просто прекращает свое существование.

И эта сила женского есть сила соблазна.

Упадок психоанализа и сексуальности как жестких структур, их измельчание в психомолекулярной вселенной (где, кстати, и происходит их окончательное освобождение) позволяет нам разглядеть иную вселенную

34

(параллельную первой в том смысле, что они нигде не пересекаются), которая истолковывается уже не в терминах психических и психологических отношений, не в терминах вытеснения или бессознательного, но в терминах игры, вызова, агонистических дуальных отношений и стратегии видимостей: в терминах обольщения и соблазнительной обратимости взамен структуры и различительных оппозиций, — вселенную, в которой женское уже не противостоит мужскому, но *соблазняет* его.

В стихии соблазна женское перестает быть маркированным либо немаркированным термином. Оно не подразумевает "автономии" желая или наслаждения, автономии тела, речи или письма, которую оно будто бы утратило (?), не выискует своей истины, но — соблазняет.

Конечно, эта суверенность соблазна может называться женской лишь с той же долей условности, с какой сексуальность изображается в основе своей мужской, но суть в том, что форма эта существовала всегда — обрисовывая, где-то по краям, женское как нечто такое, что не является ничем, никогда не "производится", никогда не оказывается там, где выводится (и уж наверняка отсутствует в разного рода "феминистских" потугах), — причем в перспективе не какой-то там *бисексуальности*, психической или биологической, но *транссексуальности соблазна*, которую стремится подавить вся сексуальная организация, да и собственно психоанализ, чья исходная аксиома (нет иной структуры, кроме структуры

35

сексуальности) делает его врожденно неспособным говорить о чем-либо еще.

Что противопоставляют женщины в своем движении протеста фаллократической структуре? Автономию, различие, специфику желания и наслаждения, иное пользование своим телом, речь, письмо — *никогда соблазн*. Они его стыдятся, считая искусственной инсценировкой своего тела, судьбой, сплетенной из подчиненности и продажности. Они не понимают, что *соблазн представляет господство над символической вселенной, тогда как власть — всего лишь господство над реальной*. Суверенность соблазна несоизмерима с обладанием политической или сексуальной властью.

Странный и лютый сговор феминистского движения со строем истины. Ведь соблазну дается бой, он отвергается как искусственное отклонение от истины женщины — истины, которая в последней инстанции должна-таки быть обнаружена вписанной в ее тело и ее желание. А это все равно, что одним махом перечеркнуть огромное преимущество женского, которое в том и заключается, что женское никогда, в известном смысле, даже не подступалось к истине, оставляя за собой абсолютное господство над царством видимостей. Имманентная сила соблазна: все и вся отторгнуть от своей истины и вернуть в игру, в чистую игру видимостей, и в ней моментально переиграть и опрокинуть все системы

36

смысла и власти: раскрутить волчком видимости, разыграть тело как видимость, отняв у него глубину желаний, — ведь все видимости обратимы — лишь на этом уровне системы хрупки и уязвимы — смысл уязвим только для колдовства. Только невероятное ослепление побуждает отрицать эту силу, равную всем прочим и даже превосходящую их все, поскольку она опрокидывает их простой игрой *стратегии видимостей*.

Анатомия — это судьба: так говорил Фрейд. Можно только недоумевать, что отказ женского движения от этой судьбы, фаллической по определению и скрепленной печатью анатомии, открывает альтернативу, которая по-прежнему остается чисто анатомической и биологической.

"Женское удовольствие не связано с выбором между клиторальной активностью и вагинальной пассивностью. Удовольствие от ласки влагалища вовсе не должно заменять удовольствие от ласки клитора. Оба незаменимы, и оба сходятся к общей вершине женского оргазма... Среди прочего ласка груди, поглаживание лобка, приоткрытие губ, маятниковое надавливание на заднюю стенку влагалища, касание шейки матки и т.д., если упомянуть лишь некоторые из специфически женских удовольствий" (Люс Иригарэ).

Женская речь? Но это по-прежнему анатомическая речь, все та же речь тела. Женская специфика оказыва-

ется в дифракции эрогенных зон, в децентрированной эрогенности, рассеянной поливалентности оргазма и преображении всего тела желанием — таков лейтмотив, пронизывающий не только всю сексуальную и женскую революцию, но и всю нашу культуру тела, от анаграмм Бельмера до машинных подключений Делёза. Всегда речь идет о теле, если не анатомическом, то по крайней мере органическом и эрогенном, о функциональном теле, которое даже в этой распыленной и метафорической форме имеет своим назначением оргазм, а естественной манифестацией — желание. Одно из двух: либо тело, о котором тут говорится, всего лишь метафора (но о чем же тогда толкуют сексуальная революция и вся наша культура, давно ставшая культурой тела?), либо эта речь тела, эта речь женщины означает, что мы окончательно захвачены анатомической судьбой, анатомией как судьбой. Никакого радикального противоречия фрейдовской формуле во всем этом.

И нигде не слышно о соблазне, об обработке тела не желанием, но лукавством, о теле соблазненном, теле соблазняемом, о теле, страстно отрываемом от своей истины, той этической истины желания, что неотступно нас преследует, истины серьезной и глубоко религиозной, которую воплощает сегодня тело и для которой, как прежде для религии, соблазн точно такие же порча и коварство, — нигде не слышно о теле, предавшемся видимостям.

Но *только соблазн радикально противостоит анатомии как судьбе*. Только соблазн разбивает различитель-

ную сексуализацию тел и вытекающую отсюда неизбежную фаллическую экономию.

Наивно любое движение, верящее в возможность подрыва системы через ее базис. Соблазн являет большую ловкость, являет как бы спонтанно и с ослепительной очевидностью — ему нет нужды доказывать и показывать себя, нет нужды себя обосновывать — он сказывается непосредственно, в переворачивании всякой мнимой глубины реального, всякой психологии, всякой анатомии, всякой истины, всякой власти. Соблазну известно, и в этом его тайна, что *никакой анатомии нет*, нет никакой психологии, что все знаки обратимы. Ему не принадлежит ничего, кроме видимостей — от него ускользают все формы власти, но он способен *обратить все* ее знаки. Что может противостоять соблазну? Вот где единственная подлинная ставка в этой игре: контроль и стратегия видимостей против силы бытия и реальности. Бесполезно пытаться разыграть бытие против бытия, истину против истины — все это ловушка подрыва основ, — но, оказывается, достаточно *легкой* манипуляции видимостями.

А что такое женщина, если не видимость? Именно как видимость женское поражает глубину мужского. И чем восставать против такой "оскорбительной" формулировки, женщинам следовало бы дать себя соблазнить этой истиной, потому что именно здесь секрет их силы — силы, которую они теряют, выставляя против глубины мужского глубину женского.

39

Точнее, мужскому как глубине противостоит даже не женское как поверхность, но женское как неразличимость поверхности и глубины. Или как неразличенность подлинного и поддельного. "Женственность как маскарад" Жоан Ривьер (*La Psychanalyse*, № 7) как раз об этом — весь соблазн в одном фундаментальном положении: "Подлинна женщина или поверхностна — по сути дела, это одно и то же".

Такое можно сказать только о женском. Мужское знает надежный способ различения и абсолютный критерий истинности. Мужское определено, женское неразрешимо.

И это положение, согласно которому в женском лишается основания само различие между подлинным и искусственным, странным образом совпадает с формулой, определяющей пространство симуляции: здесь также невозможно провести различие между реальным и моделями, нет никакой иной реальности, кроме той, что секретируется симуляционными моделями, как нет никакой иной женственности, кроме женственности ви-димостей. Симуляция тоже неразрешима.

Странное совпадение, намек на двусмысленность женского: это и радикальная констатация симуляции, и одновременно единственная возможность выйти за пределы симуляции — именно в сферу соблазна.

Вечная ирония общественности

Женственность, вечная
ирония общественности.
Гегель

Женственность как принцип неопределенности.

Она расшатывает половые полюса. Женственность не просто полюс, противостоящий мужскому, она то, что вообще упраздняет различимую оппозицию, а значит, и саму сексуальность, какой она исторически воплотилась в мужской фаллоκραтии, а завтра может воплотиться в фаллокрапии женской.

И если женственность предстает принципом неопределенности, то наибольшей неопределенность окажется там, где она сама неопределенна, — в игре женственности.

Трансвестизм. Не гомосексуализм и не транссексуализм: игра половой неразличимости — вот на что западают травести. Источник их обаяния, действующего и на них самих, в шаткости пола, в половом колебании вместо привычного влечения одного пола к другому.

Они

41

не любят, по правде, ни мужчин/мужчин, ни женщин/женщин, ни вообще кого бы то ни было, кто избыточно определяет себя как существо с четко различимым полом. Для наличия пола необходимо, чтобы знаки удваивали биологическое существо. Здесь же знаки от него отделяются — значит, пола, собственно говоря, уже нет, и травести влюблены как раз в эту игру знаков, их зажигает перспектива *обольщения самих знаков*. Все в них — грим, театральность, соблазн. Мы видим их одержимость сексуальными играми, но одержимы они в первую очередь игрой как таковой, и если жизнь их кажется более сексуально заряженной, чем наша, это оттого, что пол они обращают в тотальную игру, жестовую, чувственную, ритуальную, в экзальтированное, но в то же время ироническое заклинание.

Что случилось бы с красотой Нико, если б не эта ее от начала до конца наигранная женственность? По правде, она излучала нечто большее, чем красоту, нечто более возвышенное, какой-то иной соблазн. И разочарованием было узнать, что она вроде как лжетравести, настоящая женщина, косящая под травести. Все дело в том, что настоящая женщина, заранее удостоверенная своим полом, имеет меньше шансов довести соблазн до предела, чем обращающаяся в стихии знаков женщина/неженщина — лишь та способна обворожить беспримесной замороженностью, поскольку чары ее больше соблазнительны, чем сексуальны. Замороженность, которая теряется, когда проглаживает реальный пол, — в чем,

42

конечно, иное желание может найти для себя выгоду, но никогда уже не найдет того совершенства, которое дается только искусственностью.

Соблазн всегда особенней и возвышенней секса, и превыше всего мы ценим именно соблазн.

Не нужно искать корни трансвестизма в бисексуальности. Ведь оба пола и половые характеры, пусть даже смешанные или амбивалентные, неопределенные или интервертированные, остаются при всем при том реальными, они все еще свидетельствуют о психической реальности пола. Здесь же затмевается само определение сексуального. И эта игра не извращение. Извращенец тот, кто извращает порядок терминов. А здесь нет больше терминов, которые можно было бы извратить, — лишь знаки, которые надо совратить.

Не нужно искать эти корни и в бессознательном, в так называемой "латентной гомосексуальности". Все это старая казуистика латентности, сама порожденная *сексуальным* воображаемым, которое противопоставляет поверхность и глубину, всегда предполагая необходимость симптомного прочтения и исправления смысла. *Здесь нет ничего латентного*, все здесь во весь голос изобличает саму гипотезу о какой-то тайной и определяющей инстанции пола, гипотезу о глубинной игре фантазмов, управляющей якобы поверхностной игрой знаков: все разыгрывается в умопомрачительном ритме этой реверсии, *этого пресуществления пола в знаки, в котором тайна всякого соблазна.*

43

Возможно, даже сила соблазна, облекающая травести, прямо обусловлена пародированием пола: сверхобозначенный пол всегда пародия на самое себя. Так что проституция травести имеет несколько иной смысл, чем обычная женская. Она ближе к священной проституции древних (или к священному статусу гермафродитизма). Грим и театральность используются здесь для пародийного и ритуального пародирования полом, подлинное наслаждение которым отсутствует и даже не предвидится.

Соблазн как таковой удваивается здесь пародией, в которой просматривается достаточно беспощадная по отношению к женскому свирепость, — пародией, которая может быть истолкована как аннексия мужчиной всего принадлежащего женщине арсенала средств обольщения. В таком случае транвестизм воспроизводит философию первобытного воина: только воин может быть обольстительным, женщина — пустое место (как бы намек на фашизм, и его сродство с трансвестизмом). Но, возможно, это не столько суммирование полов, сколько сведение их к нулю? И не аннулирует ли мужское этой пародией на женственность свои статус и прерогативы, чтобы сделаться в результате не более чем контрапунктным элементом какой-то ритуальной игры?

В любом случае, эта пародия на женское не так уж свирепа, как о ней думают, поскольку изображает женственность, *какой она рисуется воображению мужчин*, какой она предстает в их фантазиях, т.е. женственность

превышенную, приниженную, пародийную (барселонские травести не бреют усов и выставляют напоказ волосатую грудь), она открыто свидетельствует о том, что в этом обществе женственность не более чем знаки, в которые обряжают ее мужчины. Пересимулировать женственность — это объявить, что женщина всего лишь мужская симуляционная модель. *Модели* женщины бросается вызов через *игру* женщины, вызов женщине/женщине от женщины/знака, и вполне возможно, что это живое симуляционное изобличение, играющее на грани искусственности, обыгрывающее механизмы женственности и в то же время переигрывающее их, доводя до совершенства, окажется более трезвым и радикальным, нежели все идейно-политические претензии "отчужденной в своей сущности" женственности. Эта игра показывает, что нет у женщины никакой собственной сущности (природы, письма, оргазма, никакого особого либидо, как отмечал уже Фрейд). Она показывает, наперекор всем поискам аутентичной женственности, речи женщины и т.п., что женщина — ничто и что как раз в этом ее сила.

Этот ответ, конечно, тоньше выставяемого феминизмом лобового опровержения теории кастрации. Ведь теория эта сталкивается с неизбежностью уже не анатомического, но символического порядка, тяготеющей над всякой виртуальной сексуальностью. Следовательно, опрокинуть этот закон можно только путем его *пародийного разрешения*, при помощи эксцентрирования знаков

женственности, такого удвоения знаков, которое кладет конец всякой неразрешимой биологии или метафизике полов — грим как раз это и есть: триумфальная пародия, разрешение в избыточности, в поверхностной гиперсимуляции той глубинной симуляции, каковой является сам символический закон кастрации — транссексуальная игра соблазна.

Ирония ухищрений искусственности — сила накрашенной или продающей себя женщины, умеющей заострить черты настолько, чтобы сделать их больше, чем знаком, тем самым — не ложью, противопоставленной истине, но чем-то более лживым, нежели ложь, — делаясь вершиной сексуальности, но в то же время полностью растворяясь в симуляции. Ирония превращения женщины в кумира или сексуальный объект, в силу чего она, в своем замкнутом совершенстве, кладет конец сексуальной игре и отсылает мужчину, господина и повелителя сексуальной *реальности*, к своей прозрачности *воображаемого* субъекта. Ироническая сила объекта, которую женщина теряет, наделяясь статусом субъекта.

Всякая мужская сила есть сила производства. Все, что производится, пусть даже женщина, производящая себя как женщину, попадает в регистр мужской силы. Единственная, но неотразимая, сила женственности — обратная сила соблазна. Сама по себе она ничто, ничем особенным не отличается — кроме своей способности аннулировать силу производства. Но аннулирует она ее всегда.

А существовала ли вообще когда-либо фаллоократия? Не может такого быть, что вся эта история о патриархальном господстве, фаллической власти, исконной привилегированности мужского просто лапша на уши? Начиная с обмена женщинами в первобытных обществах, идиотски толкуемого как первая стадия в истории женщины-объекта? Все рассказы, которые мы на этот счет слышим, универсальный дискурс о неравенстве полов, этот лейтмотив эгалитаристской и революционной современности, в наши дни усиленный всей энергией *осекшейся* революции, — все это одна гигантская нелепость. Вполне допустима и в каком-то смысле более интересна обратная гипотеза — что женское никогда и не было закрепощенным, а напротив, всегда само господствовало. Женское не как пол, но именно как трансверсальная форма любого пола и любой власти, как тайная и вирулентная форма бесполости. Как вызов, опустошительные последствия которого ощутимы сегодня на всем пространстве сексуальности, — не этот ли вызов, который не что иное, как вызов соблазна, торжествовал во все времена?

С этой точки зрения оказывается, что мужское всегда было только остаточным, вторичным и хрупким образованием, которое надлежало оборонять посредством всевозможных укреплений, учреждений, ухищрений. Фаллическая твердыня действительно являет все признаки крепости, иначе говоря слабости. Только бастион явной сексуальности, целесообразности секса, исчерпы-

47

вающегося воспроизводством и оргазмом, спасает ее от падения.

Можно высказать гипотезу, что женское вообще единственный пол, а мужское существует лишь благодаря сверхчеловеческому усилию в попытке оторваться от него. Стоит мужчине хоть на миг зазеваться — и он вновь отброшен к женскому. Тогда уже женское определенно привилегировано, а мужское выставляется определенно ущемленным — и становится ясней ясного вся смехотворность стремления "освободить" одно, чтобы предоставить ему доступ к столь хрупкой "власти" другого, к этому в высшей степени эксцентричному, парадоксальному, параноидальному и скучному состоянию, которое зовется мужественностью.

Сексуальная сказка-перевертыш фаллической сказки, где женщина выводилась из мужчины путем вычитания, — здесь уже мужчина выводится из женщины путем исключения. Сказка, которую нетрудно подкрепить хотя бы тем, что говорится в "Символических ранах" Беттельгейма: свою власть и свои институты мужчины установили с одной только целью — противодействовать изначальному могуществу и превосходству женщины. Движущей силой предстает здесь уже не зависть к пенису, а, напротив, зависть мужчины к женскому плодородию. Эта привилегия женщины неискупима, надлежало любой ценой изобрести какой-то отличный — мужской — социальный, политический, экономический строй, в котором эта естественная привилегия была бы

48

умалена и принижена. В ритуальном строе присвоение знаков противоположного пола широко практикуется именно мужчинами: нанесение шрамов, увечий, имитация женских половых органов и беременности (*кува-да*) и т.п.

Все это настолько убедительно, насколько только может быть убедительна парадоксальная гипотеза (такая гипотеза всегда интереснее общепринятой), но на самом деле она просто меняет местами термины оппозиции, превращает уже женское в изначальную субстанцию, своего рода антропологический базис, выворачивает наизнанку анатомическую детерминацию, но по сути оставляет ее в неприкосновенности, как судьбу, — и вновь теряется вся "ирония женственности".

Ирония теряется, как только женское институируется как пол, даже — и особенно — тогда, когда делается это с целью изобличить его угнетение. Извечная ловушка просвещенческого гуманизма, нацеленного на освобождение порабощенного пола, порабощенных рас, порабощенных классов, но мыслящего это освобождение не иначе как в терминах самого их рабства. Это чтобы женское стало полноправным полом? Нелепость, коль скоро оно не полагается ни в терминах пола, ни в терминах власти.

И женское как раз не вписывается ни в строй эквивалентности, ни в строй стоимости: потому-то оно неразрешимо во власти. Его даже подрывным не назовешь — потому что оно обратимо. Власть же, напротив, оказы-

вается разрешимой в обратимости женского. И если, таким образом, "факты" нашего знания не дают решения вопроса, что из двух, мужское или женское, господствовало над другим на протяжении веков (еще раз отметим: тезис об угнетении женского основан на карикатурном фаллократическом мифе), то, наоборот, совершенно ясно, что и в сфере сексуальности обратимая форма одерживает верх над линейной формой. Исключенная форма втайне берет верх над господствующей. Соблазнительная форма торжествует над производственной.

В этом контексте женственность соседствует с безумием. Безумие тоже втайне торжествует — и потому подлежит нормализации (спасибо гипотезе о бессознательном, среди всего прочего). Женственность втайне торжествует — и потому подлежит рециркуляции и нормализации (особенно в плане сексуального освобождения).

И наслаждения.

Одно из часто приводимых свидетельств угнетения женщин — лишения, которые они претерпевают в плане сексуального наслаждения, неадекватность их наслаждения. Какая вопиющая несправедливость! Каждому надлежит поднапрячься и незамедлительно возместить убытки по схеме сексуального марафона или гонки на выживание. Наслаждение приняло облик насущной потребности и фундаментального права. Младшее в се-

50

мействе человеческих прав, оно быстро обрело достоинство категорического императива. Перечить ему безнравственно. Но оно лишено даже обаяния кантовских бесцельных целесообразностей. Оно навязывается под видом учета и менеджмента желания, контроля и самоконтроля, который никто не вправе игнорировать, точно так же как и закон.

Это означает закрывать глаза на то, что и наслаждение обратимо, т.е. отсутствие или отказ от оргазма может подарить высшую интенсивность. Как раз здесь, когда сексуальная цель снова обретает алеаторный характер, и возникает нечто такое, что может быть названо соблазном или удовольствием. С другой стороны, само наслаждение может оказаться лишь предлогом для иной, более захватывающей, более страстной игры — так в "Империи чувств", где цель, а точнее *ставка* любов-ной игры — не столько оргазм, сколько достижение его предела и запредельности по ту сторону наслаждения, вызов, который забывает чистый процесс желания, потому что логика его умопомрачительней, потому что он страсть, а противник — всего лишь влечение.

Но это же умопомрачение может разыгрываться и при *отказе* от наслаждения. Кто знает, что скрывается за "обделенностью" женщин — не играли на праве сексуальной сдержанности, которым они во все времена с успехом пользовались, парадирюя своей неудовлетворенностью, бросая вызов мужскому наслаждению как *всего лишь* наслаждению? Никто не знает, каких разрушитель-

ных глубин может достигать эта провокационная стратегия, какое в ней скрыто могущество. Мужчина так и не вырвался из этой ловушки, оставленный наслаждаться в одиночку, ограниченный простым суммированием своих удовольствий и побед.

Кто одержал верх в этой игре со столь непохожими стратегиями? На первый взгляд по всей линии противостояния торжествует мужчина. Но на самом деле нет уверенности, что он не потерялся и не увяз на этой зыбкой почве, как и на поле битвы за власть, обратившись в странное бегство *вперед*, когда уже никакое механическое накопление, никакой расчет не гарантируют ему спасения, не избавляют от затаенного отчаяния по тому, что все время от него ускользает. С этим надо было кончать — женщины обязаны кончать. Так или иначе, их требовалось освободить и заставить получать наслаждение — положив конец этому невыносимому вызову, который в конечном счете аннулирует наслаждение всегда возможной стратегией ненаслаждения. Ведь у наслаждения нет стратегии — это просто энергия, текущая к своей цели. Наслаждение, таким образом, ниже стратегии — конкретная стратегия может использовать его как материал, а само желание — как тактический элемент. Это центральная тема либертеновской сексуальности XVIII века, от Лаклодо Казановы и Сада (включая сюда и Киркегора, каким он предстает в "Дневнике обольстителя"): для всех них сексуальность все еще церемониал, ритуал, стратегия — перед тем как

52

Права Человека и психология похоронят ее в откровенной истине секса.

Так наступает эра контрацепции и прописного оргазма. Конец права на сексуальную сдержанность. Надо думать, женщины осознали, что у них отнимают нечто действительно существенное, раз они с таким упорством стали сопротивляться "рациональному" употреблению таблеток, находя тысячу извинений для своей "забывчивости". Такое же сопротивление, какое поколениями оказывалось образованию, медицине, безопасности, труду. Такое же глубокое предчувствие опустошений, которыми грозят ничем не сдерживаемые свобода, слово, наслаждение: вызов, иной вызов, больше невозможен, всякая символическая логика искореняется, уступая шантажу перманентной эрекции (без учета тенденции к понижению процентных ставок самого наслаждения?).

"Традиционной" женщине ни вытеснением, ни запретом в наслаждении не отказывалось: она целиком соответствовала своему статусу, вовсе не была закрепощенной или пассивной и не мечтала из-под палки о своем грядущем "освобождении". Это только добрым душам женщина видится в ретроспективе извечно отчужденной — а затем обретающей свободу для своего желания. И в этом видении чувствуется глубокое презрение — такое же, какое выказывается в отношении "отчужденных" масс, которые никогда, дескать, не способны были

53

стать чем-то большим, нежели замороженным, "мистифицированным" стадом.

Как просто нарисовать картину векового отчуждения женщины, распахнув перед ней сегодня, под благотворными знаменьями революции и психоанализа, врата желания. Так просто, так неприлично просто — но что это, как не проявление сексизма и расизма: оскорбительное сострадание?

К счастью, женское никогда не соответствовало подобной картине. Оно всегда имело собственную стратегию, неумную и победоносную стратегию вызова (одна из высших форм которого — обольщение). Что толку слезно сожалеть об ущербе, нанесенном женскому, и стремиться его возместить? Что толку играть в заступников слабого пола? Что толку все откладывать в ипотеку освобождения и желания, чей секрет открылся-таки в XX веке? Игры всегда, в любой момент истории, разыгрываются сразу целиком, с выкладыванием всех карт и всех козырей. И в этой игре мужчины не выиграли, совсем нет. Скорее, это женщины вот-вот проиграют в ней сегодня, как раз под знаком наслаждения — но это уже другая история.

: Это современная история женского в культуре тотального производства, в культуре тотальной речи, наслаждения, дискурса. Раскрутка женского как автономного пола (равные права, равное наслаждение), женс-

54

кого как стоимости — ценой женского как принципа неопределенности. Все сексуальное освобождение сводится к этой стратегии навязывания женского права, женского статуса, женского наслаждения. Передержка и постановка женского как секса, оргазма — как размноженного доказательства секса.

Об этом ясно свидетельствует порнография. Агрессивная реклама кончающей женственности в порнотри-логии зияния, оргазма и значности — лишь средство как можно надежнее схоронить неопределенность, витавшую некогда над этим "черным континентом". Кончилась "вечная ирония женского", о которой говорил Гегель. Отныне женщина будет кончать и знать — почему. Женственность станет видна насквозь — женщина как эмблема оргазма, оргазм как эмблема сексуальности. Никакой неопределенности, никакой тайны. Торжество радикальной непристойности.

"Сало, или 120 дней Содома" Пазолини — подлинные сумерки соблазна: неумолимая логика стирает здесь последние следы обратимости. Все тут необратимо мужественно и мертво. Исчез даже тайный сговор, промискуитет палачей и жертв истязаний: осталась абсолютно бездушная пытка, бесстрастное злодейство, холодная механика истязания (и тогда, надо думать, наслаждение не что иное, как промышленная эксплуатация тел, и противоположно какому бы то ни было соблазну: на-

55

слаждение как добываемый продукт, продукт машине-рии тел, логистики удовольствий, устремленной напрямик к цели, к уже мертвому объекту).

Фильм иллюстрирует ту истину, что в господствующей мужской системе, во всякой господствующей системе (которой признак господства автоматически сообщает и мужественность) именно женственность воплощает собой обратимость, возможность игры и символической импликации. "Сало" рисует вселенную, где без остатка вытравлен тот минимум соблазна, что составляет смысл — ставку — не только секса, но и всякого вообще отношения, включая сюда смерть и обмен смертью (как и у Сада, в "Сало" это выражается гегемонией содомии). Тут-то и обнаруживается, что женское — не просто один из противостоящих друг другу полов, но нечто такое, что придает полу, за которым удерживается половая монополия (мужскому — полноправному и вполне себя реализующему), неуловимый налет чего-то радикально иного. *Очарованная* и чарующая форма этого призрачного нечто — соблазн, *разочарованная* — пол. Соблазн — игра, пол — функция. Соблазн принадлежит к ритуальному строю, пол и желание — к природному. Столкновением этих двух фундаментальных форм и объясняется борьба женского и мужского, а вовсе не биологическим различием или наивным соперничеством в погоне за властью.

56

Женское — не только соблазн, это и вызов, бросаемый мужскому, ставящий под вопрос существование мужского как пола, его монополию на пол и наслаждение, его способность пойти до конца и отстаивать свою гегемонию насмерть. Вся сексуальная история нашей культуры отмечена неослабевающим давлением этого вызова: не находя в себе сил принять его, и терпит сегодня крах фаллоκραтия. Наверно, и вся наша концепция сексуальности рухнет вместе с нею, поскольку она была выстроена вокруг фаллической функции и позитивной дефиниции пола. Всякая *позитивная* форма запросто приравнивается к своей *негативной* форме, но встречает смертельный вызов со стороны *обратимой* формы. Всякая структура приспосабливается к инверсии или субверсии своих терминов — но не к их реверсии. И эта обратимая форма есть форма соблазна.

Это не тот соблазн, с которым в исторической перспективе ассоциируются женщины, культура гинекея, косметики и кружев, не соблазн в редакции теорий зеркальной стадии и женского воображаемого, пространства сексуальных игр и ухищрений (хотя именно здесь сохраняется единственный ритуал тела, еще оставшийся у западной культуры, когда все прочие, включая и ритуальную вежливость, безвозвратно утеряны), но соблазн как ироническая и альтернативная форма, разбивающая сексуальную референцию, пространство не желания, но игры и вызова.

Сценарий, который легко угадывается даже в про-

стейшей игре соблазна: я не поддамся, ты не заставишь меня кончить, а я заставлю тебя играть и украду твое наслаждение. Едва ли верно низводить эту динамичную игру до уровня сексуальной стратегии. Правильней будет назвать ее стратегией смещения (*seducere*: уводить в сторону, сбивать с пути), совращения, отклонения истины пола: играть — не кончать. Здесь обнаруживается суверенность соблазна, который есть страсть и игра, принадлежащие к строю знака, и в перспективе соблазн всегда торжествует, потому что обратимость и неопределенность — основные черты этого строя.

Обаяние соблазна, конечно, сильнее и выше христианских подачек наслаждения. Нас пытаются уверить, будто наслаждение — естественная цель, многие с ума сходят оттого, что не в силах ее достичь. Но любовь ничего общего не имеет с влечением — разве что в либиди-нозном дизайне нашей культуры. Любовь — вызов и ставка: вызов другому полюбить в ответ; быть обольщенным — это бросать другому вызов: можешь ли и ты уступить соблазну? (Тонкий ход: обвинить женщину в том, что она на это неспособна.) Иной смысл приобретает под этим углом зрения извращение: это *притворная обольщенность*, за которой не скрывается ничего, кроме неспособности поддаться соблазну.

Закон обольщения — прежде всего закон непрерывного ритуального обмена, непрерывного повышения ставок обольстителем и обольщаемым — нескончаемого потому, что разделительная черта, которая определи-

ла бы победу одного и поражение другого, в принципе неразличима — и потому, что этот бросаемый другому вызов (уступи еще больше соблазну, люби меня больше, чем я тебя!) может быть остановлен лишь смертью. Секс, с другой стороны, имеет близкую и банальную цель — наслаждение, поскольку это непосредственная форма исполнения желания.

Рустан в "**Столь зловещей судьбе**" (с. 142—143) пишет:

"В ходе анализа выясняется, какой крайней опасности подвергается мужчина, начинающий прислушиваться к женскому запросу наслаждения. Если своим желанием женщина изменяет ту неизменность, в которой не мог не замкнуть ее мужчина, если сама она становится безотлагательным и беспредельным запросом, если не может больше удерживаться и перестает себя сдерживать, мужчина оказывается отброшен в предсуицидальное состояние. Запрос, не терпящий никаких оттяжек, никаких извинений, безграничный по своей интенсивности и продолжительности, начисто развеивает тот абсолют, каким представлялась женщина, женская сексуальность, даже женское наслаждение... Женское наслаждение всегда может быть снова обожествлено, в то же время запрос наслаждения от женщины вызывает у мужчины, который к ней привязан и не в силах бежать, утрату ориентиров и чувство полной неспособности хоть как-то контролировать ситуацию... Мир распадается под громовые раскаты, когда все желание переходит в запрос. Вот очевидная

59

причина того, что наша культура научила женщин ничего не запрашивать — чтобы впоследствии приучить их ничего не желать".

Что же это за "желание, которое все переходит в запрос"? Идет ли здесь еще речь о "желании женщины"? Не просвечивает ли во всем этом характерная форма безумия, к "освобождению" имеющая лишь весьма отдаленное отношение? Что за новость эта женская конфигурация безграничного сексуального запроса, беспредельного требования наслаждения? На самом деле мы видим здесь предельный пункт, в котором происходит крушение всей нашей культуры — и она принимает (в этом Рустан прав) форму коллективного пре-су-ицидального насилия — но не только для мужчины: для женщины также, и вообще для сексуальности.

"Мы говорим "нет" тому/той, кто любит лишь женщин; тому/той, кто любит лишь мужчин; тому/той, кто любит только детей (стариков, садистов, мазохистов, собак, кошек...)... Новый активист сексуальной революции, рафинированный и эгоцентричный, отстаивает свое право на сексуальный расизм, право на свою сексуальную исключительность. Мы же говорим "нет" всякому сектанству. Если непременно надо стать женоненавистником, чтобы быть педерастом, или мужененавистницей, чтобы быть лесбиянкой... если надо отказаться от ночных походов, свиданий, случайных знакомств, чтобы защититься от

60

сексуального насилия, — не означает ли это, что во имя борьбы с известными запретами вводятся новые табу, новые моралистические предписания и нормы, новые шоры для рабов...

Мы ощущаем в наших телах не один, не два, но множество полов. В человеке мы видим не мужчину или женщину, но просто человеческое, антропоморфное (!) существо... Наши тела изнывают под гнетом стереотипных культурных барьеров, мы устали от физиологической сегрегации в любом ее виде... Мы самцы и самки, взрослые и дети, голубые, розовые и педики, распутницы, распутники, выпендрейницы, выпендрейники. Мы не принимаем сведения к одному полу всего нашего сексуального богатства. Наш сапфизм — лишь одна из граней нашей множественной сексуальности. Мы отказываемся ограничивать себя тем, что предписывает нам общество, отказываемся быть гетеросексуалами, лесбиянками, педерастами и что там еще включается в гамму рекламной продукции. Мы абсолютно безрассудны во всех наших желаниях".

*(Libe, июль 1978, Джудит Белладонна
Барбара Пентон)*

Неистовство безудержной сексуальной активности, желание почти бесследно улетучиваются в запросе и оргазме — не преворачивает ли это диагноз Руста́на:

если прежде женщин учили ничего не запрашивать, чтобы приучить их ничего не желать, не учат ли их се-

61

годня запрашивать все, чтобы они ничего не желали? Оргазм — разгадка тайны "черного континента"?

Считается, что мужское ближе к Закону, женственность — к наслаждению. Но разве не оказывается наслаждение аксиоматикой разгаданной сексуальной вселенной, которую имеет в виду женское освобождение, продуктом долгого и медленного истощения Закона: наслаждение как истощенная форма Закона — Закон, уже не воспрещающий, как прежде, но предписывающий наслаждение. Эффект обратной стимуляции: наслаждение объявляет и полагает себя автономным — и в тот же миг оказывается на деле лишь эффектом Закона. А может, Закон рушится, и на месте его крушения наслаждение водворяется как новая форма договора. Какая разница — ведь ничего не изменилось:

инверсия знаков — стратегический эффект, не более. Таков смысл наблюдаемого сегодня переворота — от мужского начала и запрета, правивших прежде сексуальным разумом, к сдвоенной привилегированности женского и наслаждения. Экзальтация женственности — совершенный инструмент для беспрецедентной генерализации и управляемого распространения Сексуального Разума.

Неожиданный поворот, камня на камне не оставляющий от иллюзий, которые связывались с желанием в разного рода освободительных рационализациях. Мар-кузе:

62

"Все, что в рамках патриархальной системы представляется женской антитезой мужских ценностей, на самом деле может составлять подавленную социально-историческую альтернативу — социалистическую... В патриархальном обществе особые качества приписываются женщине как таковой, и покончить с этим обществом можно как раз отрицанием такой ограниченной атрибуции: нужно дать этим качествам развернуться во всех секторах общественной жизни, относящихся как к труду, так и к досугу. Освобождение женщины в таком случае совпадет с освобождением мужчины..."

То есть освобожденная женственность ставится на службу новому коллективному Эросу (та же операция и в отношении инстинкта смерти — та же диалектика пляски от нового социального Эроса). А что если женственность вовсе не набор каких-то там особых качеств (этим она могла быть лишь в пространстве вытеснения), что если "освобожденная" женственность окажется выражением *эротической индетерминации*, утраты каких бы то ни было специфических качеств как в социальной, так и в сексуальной сферах?

Изрядная ирония женственности всегда окрашивала соблазн, не менее яркой иронией расцвечена и эта ее сегодняшняя индетерминация, и та двусмысленность, в силу которой раскрутка женственности как субъекта сопровождается укоренением ее объектного статуса, т.е. порнографии в самом широком смысле. Это странное

63

совпадение — камень преткновения для всякого освободительного феминизма, которому, конечно же, хотелось бы четко отмежевать одно от другого. Безнадежное это дело: вся значимость освобождения женственности как раз-таки в его радикальной двусмысленности. Вот и Рустан в своем тексте, хотя и склонен придавать столь большое значение взрыву женского запроса, все-таки не может вполне заглушить ощущение катастрофичности перехода всего желания в запрос *также и для женщины*. Если только не считать решающим аргументом вызываемое этим запросом предсуйцидальное состояние мужчины, ничто не позволяет провести различие между подобной *монструозностью* женского запроса и наслаждения и тотальным запретом, некогда на него налагавшимся.

Двусмысленность эта обнаруживается и со стороны увядающей мужественности. Панике, внушаемой мужчине "освобожденным" женским субъектом, под стать разве что его незащитность перед порнографическим зиянием "отчужденного" пола женщины, женского сексуального объекта. Приводит ли женщину "осознание рациональности ее собственного желания" к требованию наслаждения или, захваченная тотальной проституцией, она саму себя предлагает как средство наслаждения, выступает ли женственность субъектом или объектом, освобожденной или выставленной на продажу — в любом случае она предстает как сумма пола, ненасытная прорва, прожорливая разверстость. Не случайно порно-

64

графия концентрируется на женских половых органах. Ведь эрекция — дело ненадежное (никаких сцен импотенции в порнографии — все плотно ретушируется галлюцинацией безудержной раскрытости женского тела). Сексуальность, от которой требуется постоянно, непрерывно доказывать и показывать себя, становится проблематичной в смысле шаткости маркированной (мужской) позиции. Пол женщины, напротив, всегда самому себе равен: своей готовностью, своим зиянием, своей нулевой ступенью. И эта непрерывность, контрастирующая с прерывистостью мужского, обеспечивает женственности решительное превосходство в плане физиологического изображения наслаждения, в плане сексуальной бесконечности, сделавшейся фантазматическим измерением нашего бытия.

Потенциально сексуальное освобождение, как и освобождение производительных сил, не знает пределов. Оно требует достижения реального изобилия — "sex affluent society". Нельзя терпеть, чтобы сексуальные блага, равно как и блага материальные, оставались для кого-то редкостью. Пол женщины как нельзя лучше воплощает эту *утопию* сексуальной непрерывности и готовности. Потому-то все в этом обществе феминизируется, сексуализируется на женский лад: товары, блага, услуги, отношения самого разного рода — тот же эффект в рекламе, но это, конечно, не значит, что какой-нибудь стиральной машине приделываются реальные половые органы (чушь какая) — просто товару придается некое

воображаемое свойство женственности, благодаря которому он кажется в любой момент доступным, всегда готовым к использованию, абсолютно безотказным и не подверженным игре случая.

Такой вот зияющей монотонностью и тешится пор-носексуальность, в которой роль мужского, эректирующе-щегоолибо обмякшего, смехотворно ничтожна. Хардкор дела не меняет: мужское вообще больше не интересует, поскольку оно слишком определено, слишком маркировано (фаллос как каноническое означающее) и потому слишком непрочно. Надежней завораживающая привлекательность нейтрального — неопределенного зияния, сексуальности расплывчатой и рассеянной. Исторический реванш женственности после долгих столетий вытеснения и фригидности? Возможно. Но верней сказать — истощение и ослабление половой маркировки, причем не только исторически памятной марки мужского, крепившей некогда все схемы эректильности, вертикальности, роста, происхождения, производства и т.п., а ныне бесследно изгладившейся в хаосе навязчивой симуляции всех этих тем, — но и метки женственности, во все времена запечатлявшей соблазн и обольщение. Сегодня механическая объективация знаков пола скрывает под собой торжество мужского как воплощенной несостоятельности и женского как нулевой ступени.

Не правда ли, мы оказались в оригинальной сексуальной ситуации изнасилования и насилия — "предсу-ицидальная" мужественность насилуется неудержимым

женским оргазмом. Но это не простая инверсия исторического насилия, чинившегося над женщиной сексуальной властью мужчин. Насилие, о котором идет речь, означает нейтрализацию, понижение и падение маркированного термина системы вследствие вторжения термина немаркированного. Это не полнокровное, родовое насилие, а насилие устрашения, *насилие нейтрального*, насилие нулевой ступени,

Такова и порнография: насилие нейтрализованного пола.

Порно-стерео

Отведи меня к себе в комнату и возьми. В
твоем лексиконе есть нечто непости-
жимое, что оставляет желать...

Филип Дик. "Бал шизофреников"

Turning everything into reality.

ДЖИММИ Клифф

Обманка отнимает одно измерение у реального пространства — в этом ее соблазн. Порнография, напротив, привносит дополнительное измерение в пространство пола, делает его реальней реального — потому соблазн здесь отсутствует.

Нет смысла выяснять, какие фантазмы таятся в порнографии (фетишистские, перверсивные, перво-сцены и т.п.): избыток "реальности" перечеркивает и блокирует любой фантазм. Возможно, впрочем, порнография — своего рода аллегория, т.е. некое форсирование знаков, барочная операция сверхобозначения, граничащая с "гротескностью" (в буквальном смысле:

68

естественный ландшафт в "гротескно" оформленных садах искусственно дополняется природными же объектами вроде гротов и скал — так и порнография привносит в сексуальное изображение красочность анатомических деталей).

Непристойность выжигает и истребляет свои объекты. Это взгляд со слишком близкой дистанции, вы видите, чего прежде никогда не видели, — ваш пол, как он функционирует: этого вы еще не видели так близко, да и вообще не видели — к счастью для вас. Все это слишком правдиво, слишком близко, чтобы быть правдой. Это-то и завораживает: избыток реальности, гиперреальность вещи. Так что если и сказывается в порнографии игра фантазии, то единственный фантазм здесь относится не к полу, но к реальности и ее абсорбции чем-то совершенно иным — гиперреальностью. Вуайеризм порнографии — не сексуальный вуайеризм, но вуайе-ризм представления и его утраты, умопомрачительность утраты сцены и вторжения непристойного.

Анатомический zoom ликвидирует измерение реальности, дистанция взгляда сменяется вспышкой сверхплотного изображения, представляющего пол в чистом виде, лишенный не только всякого соблазна, но даже виртуальности своего отображения, — пол настолько близкий, что он сливается с собственным изображением:

конец перспективного пространства, которое было также пространством воображения и фантазии, — конец сцены, конец иллюзии.

69

Однако непристойность и порнография — не одно и то же. Традиционная непристойность еще наполнена сексуальным содержанием (трансгрессия, провокация, перверсия). Она играет на вытеснении с неистовством подлинной фантазии. Такую непристойность хоронит под собой сексуальное освобождение: так случилось с маркузевской "репрессивной десублимацией" (даже если нравы в целом этим не затронуты, мифический триумф "развытеснения" столь же тотален, как прежнее торжество вытеснения). Новая непристойность, как и новая философия, возрастает на месте смерти старой, и смысл у нее иной. Раньше ставка делалась на пол неистовый, агрессивный, на реальный подтекст пола — теперь в игру вступает пол, нейтрализованный терпимостью. Конечно, он "передается" открыто и броско — но это передача чего-то такого, что прежде было скрадено. Порно-графия — искусственный синтез скраденного пола, его праздник — но не празднество. Нечто в стиле "нео" или "ретро", без разницы, нечто вроде натюр-мортной зелени мертвой природы, которая подменяет естественную зелень хлорофилла и потому столь же непристойна, как и порнография.

Современная ирреальность не принадлежит больше к строю воображаемого — она относится к строю гипер-референции, гиперправдивости, гиперточности: это выведение всего в абсолютную очевидность реального. Как на картинах гиперреалистов, где различимы мельчайшие поры на лицах персонажей, — жутковатая мик-

70

роскопичность, впрочем лишённая зловещего обаяния фрейдовской *Unheimlichkeit*. Гиперреализм — не сюрреализм, это видение, которое напускается на соблазн и травит его силой зримости. Вам все время "дают больше". Цвет в кино и на телеэкране был только началом. Сегодня, показывая секс, вам дают цветную, объёмную картинку, хайфай звук со всеми низкими и высокими частотами (жизнь как-никак!) — дают столько всего, что вам уже нечего добавить от себя, нечего дать взамен. Абсолютное подавление: давая вам *немного слишком*, у вас отнимают все. Берегитесь того, что так полно вам "передается", если сами в передаче не участвовали!

Пугающее, душное, непристойное воспоминание — японская квадрофония: идеально кондиционированный зал, фантастическое оборудование, четырехмерная музыка — три измерения окружающего мира плюс четвертое, утробное, измерение внутреннего пространства — технологическое безумие попытки воспроизвести музыку (Бах, Монтеверди, Моцарт!), *которая никогда не существовала*, которую *так* никто никогда не слушал — и не сочинял, чтобы так слушать. Впрочем, ее и не "слушают": дистанция, позволяющая *слушать* музыку, на концерте или еще где, сведена на нет, вы обложены со всех сторон, нет больше музыкального пространства, все — одна тотальная симуляция эмбиента, отнимающая у вас тот минимум аналитического восприятия, без которого музыка лишается своих *чар*. Японцы попросту—и донельзя добросовестно — смешали реальное с

71

максимумом возможных измерений. Была бы возможность создать гексафонию — они б и на это сподвиглись. Но четвертое измерение, добавленное ими к музыке, — это орудие, которым они вас кастрируют, начисто лишая способности получать музыкальное наслаждение. Тут уже вас другое начинает *завораживать* (но не прельщать: нет чар — нет соблазна): техническое совершенство, хайфай — "высокая верность", определенно столь же навязчивая и пуританская, как и верность супружеская, только в данном случае даже неизвестно — верность чему, потому что никто не знает, где начинается и где кончается реальность, а значит, и умопомрачение ее перфекционистского воспроизведения.

Техника, можно сказать, сама себе роет могилу, поскольку, совершенствуя средства синтеза, она в то же время усугубляет критерии анализа и разрешающей способности, так что полная верность, исчерпывающая точность применительно к реальному вообще становятся невозможны. Реальное превращается в умопомрачительный фантазм точности, теряющийся в бесконечно малом.

"Нормальное" трехмерное пространство по сравнению, например, с обманкой, где одно измерение опущено, — уже деградация, обеднение вследствие *избыточности средств* (вообще все, что является или старается выглядеть реальным, деградация такого рода). Квадрофония, гиперстерео, хайфай — это явная деградация.

72

Порнография — квадрофония секса. Половому акту в порнографии придаются третья и четвертая дорожки. Галлюцинаторное господство детали — наука уже приучила нас к этой микроскопии, к этому эксцессу реального в микроскопических деталях, к этому вуайеризму точности, крупного плана невидимых клеточных структур, к этой идее непреложной истины, которая уже абсолютно несоизмерима с игрой видимостей и может быть раскрыта лишь при помощи сложного технического оборудования. Конец тайны.

Разве порнография, со всеми своими фокусами, не точ-нотакже нацелена на раскрытие этой непреложной микроскопической истины — истины пола? Так что порнография — прямое продолжение метафизики, чьей единственной пищей всегда был фантазм потаенной истины и ее откровения, фантазм "вытесненной" энергии и ее *производства* — т.е. выведения на непристойной сцене реального. Потому и заходит в тупик просвещенное мышление, пытаясь решить проблему порнографии: надолго подвергать ее цензуре и допускать только хорошо темперированное вытеснение? Вопрос неразрешимый, так как порнография и имеет резон: она участвует в разгроме реального — бредовой иллюзии реального и его объективного "освобождения". Невозможно освобождать производительные силы, не имея также в виду и "освобождения" пола в самой откровенной форме: то и другое равно непристойно. Коррупция пола реализмом, коррупция труда производством — все это один симптом, одна битва.

73

Рабочий в цепях, говорите? А как насчет японского гегемона на этих замечательных вагинальных представлениях, которые и стриптизом-то трудно назвать: девушки на краю сцены, ноги врозь, тут же зрители в одних рубахах (это как бы популярное зрелище), им разрешается куда угодно совать свой нос, разглядывать вагины хоть в упор, они толкаются, лезут, только бы получше разглядеть — что? — а девушки мило болтают с ними или же одергивают для проформы. Все прочее в таком спектакле — бичевание, взаимная мастурбация, традиционный стриптиз — отступает в тень перед этим моментом абсолютной непристойности, ничто не сравнится с этой прожорливостью зрелища, далеко превосходящей простое сексуальное обладание. Возвышенное порно: если бы такое было возможно, этих ребят с головы до ног затянуло бы меж раздвинутых ляжек — экзальтация смерти? Может и так, но они не просто смотрят, а еще и обмениваются замечаниями, сравнивают щелки, в какую кто уперся, причем без тени улыбки, с убийственной серьезностью, и руками ничего трогают, разве что играючи. Никакой похоти: предельно серьезный и предельно инфантильный акт, неразделенная замороженность зеркалом женского полового органа — как Нарцисс был заморожен собственным отражением. Далек за рамками традиционного идеализма стриптиза (там еще, возможно, и был хоть какой-то соблазн), у своего возвышенного предела порнография инвертируется в предельно очищенную непристойность, углубленную до висце-

74

ральной области, — зачем останавливаться на *ню*, на ге-нитальном: коль скоро непристойное относится к строю представления, а не просто секса, оно должно исследовать всю внутренность тела и скрытых в нем органов — кто знает, сколь глубокое наслаждение может доставить его визуальное расчленение, вид всех этих слизистых и мышечных тканей? Наша порнография определяется пока еще слишком узко. У непристойности поистине бескрайнее будущее.

Но — внимание! Здесь имеется в виду не какое-то там углубление влечения, а единственно *оргия реализма* и *оргия производства*. Некий раж (тоже, наверное, влечение, но подменяющее собой все прочие), лихорадочное стремление все вывести на чистую воду и подвести под юрисдикцию знаков. Все представить в свете знака, в свете зримой энергии. И пусть всякое слово будет свободно, и пусть в точности отвечает желанию. Мы погрязли в этой либерализации, которая не что иное, как всепоглощающее разрастание непристойности. Потаенному недолго наслаждаться запретом — в конце концов до всего докопаются, все будет извлечено на свет, предано огласке и досмотру. Реальное растет, реальное ширится — в один прекрасный день вся вселенная станет реальной, реальное вселенским, и это будет смерть.

Порносимуляция: нагота — это лишь еще один знак. Прикрытая одеждой, нагота функционирует как тайный,

75

амбивалентный референт. Ничем не прикрытая, она проявляется как знак и вовлекается в знаковое обращение: нагота-дизайн. То же в каком-нибудь hard core или blue room: половой орган, зияющий либо стоячий, — это просто еще один знак в коллекции гиперсексуальности. Фаллодизайн. Чем дальше заводит нас безудержная тяга к "правдивости" пола, к полнейшему разоблачению сексуальной функции, тем глубже мы втягиваемся в пустую аккумуляцию знаков, тем плотнее замыкаемся в бесконечном сверхобозначении — реальности, которой больше нет, и тела, которого никогда не было. Вся наша культура тела, включая сюда способы "выражения" его "желания", всю стереофонию телесного желания, — отмечена неизгладимой печатью монструозности и непристойности.

Гегель: "Подобно тому как на поверхности человеческого тела, в противоположность телу животного, везде раскрывается присутствие и биение сердца, так и об искусстве можно утверждать, что оно выявляет дух и превращает любой образ во всех точках видимой поверхности тела в глаз, образующий вместилище души". Значит, нет и не может быть наготы как таковой, нет и не может быть нагого тела, которое было бы только нагим, — нет и не может быть просто тела. Как в том анекдоте: белый человек спрашивает индейца, почему тот ходит голый, а индеец в ответ: "У меня все — лицо". В нефетишистской культуре (где отсутствует фетишизация наготы как объективной истины) тело не противопоставляется, как

76

у нас, лицу, которое одно наделяется взглядом и вообще завладевает всем богатством выражения: там само тело — лицо, и оно глядит на вас. Поэтому оно не может показаться непристойным, т.е. нарочно быть показано голым. Оно не может быть *увидено* голым, как у нас — лицо, потому что в действительности оно есть символическая завеса, только это и ничто иное, и соблазн рождается как раз в игре таких завес, когда тело, собственно, упраздняется "как таковое". Здесь играет соблазн — но его нет там, где завесу срывают во имя прозрачности желания или истины.

Неразличенность тела и лица в тотальной культуре видимостей — различение тела и лица в культуре смысла (здесь тело становится монструозно *видимым*, делается знаком монстра по имени желание) — затем тотальный триумф этого непристойного тела в порнографии, вплоть до полного стирания лица: эротические модели и актеры порнофильмов не имеют лица, они просто не могут быть ни красивыми, ни уродливыми, ни выразительными — все это несовместимо с жанром, функциональная нагота стирает все прочее, остается одна зрелищность пола. В некоторых фильмах дается просто крупный план совокупления в сопровождении утробных шумов: само тело отсюда исчезло, разлетевшись на самостоятельные частичные объекты. Лицо, неважно какое, здесь неуместно, так как нарушает непристойность и восстанавливает смысл там, где все нацелено на полное его уничтожение в умопомрачительном исступлении пола.

77

Деградация, которая приводит к террористической очевидности тела (вместе с его "желанием") и кончается тем, что мир видимостей лишается последних тайн. Культура десублимации видимостей: все здесь материализуется в самом что ни на есть объективном виде. Пор-нокультура по преимуществу, поскольку везде и всегда нацелена на механизмы реального. Разве не порнокультура эта идеология конкретности, фактичности, потребления, абсолютного превосходства потребительной стоимости, материального базиса вещей, тела как материального базиса желания? Одномерная культура, где кульминация всего — конкретика производства или удовольствия — нескончаемый труд, бесконечное механическое совокупление. Непристойность этого мира в том, что ничто здесь не оставлено видимостям, ничто не предоставлено случаю. Все здесь — очевидный и необходимый знак. Это мир куклы с половыми признаками, которая умеет делать пипи, говорить, а когда-нибудь и любовью сможет заняться. Реакция маленькой девочки: "Моя сестренка умеет все то же самое. Вы не подарите мне настоящую?"

От дискурса труда и производительных сил до дискурса пола и влечения — всюду один и тот же подтекст: ультиматум *про-изводства* в буквальном смысле слова. Первоначально "производство" означало не столько изготовление чего-либо, сколько действие, в результате

которого нечто становится видимым, проступает, является. Производство пола, таким образом, принципиально не отличается от какого-нибудь "делопроизводства" или, скажем, выступления актера, который *выводит* на сцене свой характер.

Производство означает насильственную материализацию того, что принадлежит к иному строю, а именно строю тайны и соблазна. Всегда и везде соблазн противостоит производству. Соблазн изымает нечто из строя видимого — производство все возводит в очевидность:

очевидность вещи, числа, понятия.

Все должно производиться, прочитываться, выражаться в реальном, видимом, в показателях эффективности, все должно транскрибироваться в силовые отношения, в системы понятий или вычисляемую энергию, все должно быть сказано, аккумулировано, переписано, взято на учет: таков секс в порнографии — но разве не тем же самым занимается вообще вся наша культура, для которой непристойность естественная среда — показательная культура монстрации, демонстрации, производственной монструозности.

Во всем этом нет места соблазну: не знает его порнография, моментальное производство половых актов, жестокая актуальность удовольствия, эти тела лишены соблазна, взгляд пронизывает их насквозь и увязает в пустоте прозрачности — но точно так же нет ни тени соблазна и во всей вселенной производства, управляемой принципом прозрачности сил в строе видимых и

79

вычисляемых феноменов: вещей, машин, половых актов или валового национального продукта.

Неразрешимая двусмысленность: в порнографии пол вытравливает соблазн, но и сам не выдерживает давления аккумулярованных знаков пола. Пародия триумфа, симуляция агонии: порнография во всей своей неоднозначности. В этом смысле она правдива, поскольку отражает состояние системы сексуального утращения галлюцинацией, утращения реального гиперреальностью, утращения тела его насильственной материализацией.

Обычно порнографии предъявляется двойное обвинение: она, дескать, манипулирует сексом с заведомой целью ослабить взрывной потенциал классовой борьбы (бородатые разговоры о "мистифицированном сознании" и т.п.); вместе с тем ее обличают и как рыночную коррупцию пола — истинного, хорошего, того, что составляет элемент естественного права и подлежит освобождению. Выходит, порнография маскирует некую истину — то ли капитала и базиса, то ли пола и желания. Но ведь порнография вообще ничего не маскирует (кстати сказать): она не какая-нибудь идеология, т.е. не прячет никакой истины, — она симулякр, т.е. эффект истины, прячущий только то, что никакой скрытой истины не существует.

Порнография как бы говорит нам: хороший пол существует, потому что я — карикатура на него. В своей

80

гротескной непристойности она представляет собой попытку спасти истину пола, придать большую убедительность отживающей модели пола. Но весь вопрос в том, правда ли имеется какой-то хороший пол, правда ли есть пол вообще — как идеальная потребительная стоимость тела, как потенциал наслаждения, который может и должен "освобождаться". Тот же вопрос стоит и перед политической экономией: имеется ли помимо меновой стоимости (как абстракции и бесчеловечной сущности капитала) еще и "хорошая" субстанция стоимости, некая идеальная потребительная стоимость товаров и общественных отношений, которая может и должна "освобождаться"?

Seducere / Producere

В действительности порно не что иное, как парадоксальный предел сексуального. Реалистическое обострение реального, маниакальная одержимость реальным: вот что непристойно, этимологически (*obscene*: вне сцены, вне представления) и вообще во всех смыслах. Но разве уже само сексуальное не есть форсированная материализация — разве "пришествие" сексуальности само по себе не органичный элемент западной реалистики — свойственной нашей культуре одержимости желанием все на свете разложить по полочкам и всему найти полезное применение?

Так же как в иных культурах нелепо пытаться обнаружить и выделить религиозное, экономическое, политическое, юридическое, да и само социальное, не говоря уж о прочих категориальных фантасмагориях, поскольку ничего подобного там просто нет, поскольку эти понятия все равно что венерические болезни, которыми мы их заражаем, чтобы "лучше их понять", так и в нашей культуре нелепо выделять сексуальное в автономную инстанцию, понимать его как несводимую дан-

82

ность, к которой даже можно свести все прочие. Следовало бы издать критику сексуального разума или, лучше, генеалогию сексуального разума на манер ницшевской генеалогии морали, потому что ведь это и есть наша новая мораль. Мы могли бы сказать о сексуальности, как о смерти: "Это привычка, к которой сознание приучено не так уж давно".

С непониманием и смутным сочувствием смотрим мы на культуры, для которых половой акт не является целью в себе, для которых сексуальность не превратилась в это смертельно серьезное дело — высвобождение энергии, принудительная эякуляция, производство любой ценой, гигиенический контроль и учет тела. Культуры, сохранившие длительные процессы обольщения и чувственного общения, где сексуальность только одна служба из многих, длительная процедура даров и ответных даров, а любовный акт не более как случайное разрешение этой взаимности, скандированной ритмом неизбежного ритуала. Для нас все это уже не имеет никакого смысла, сексуальное для нас строго определяется как *актуализация желания в удовольствии*, а все прочее — литература. Необычайная конкретизация и концентрация на оргастической функции — на энергетической функции, говоря в более общем плане.

Мы культура преждевременной эякуляции. Все больше и больше соблазн, обольщение в любых своих аспектах, этот в высшей степени *ритуализованный* процесс, заглушается *натурализованным* сексуальным императи-

83

вом, уступает место непосредственной и императивной реализации желания. Наш центр тяжести действительно сместился клибидинальной экономике, которая оставляет место лишь натурализации желания, обреченного либо влечению, либо машинному функционированию, но в первую очередь воображаемому с его определяющими константами вытеснения и освобождения.

Теперь не говорят уже: "У тебя есть душа, ее надлежит спасти", но:

"У тебя есть пол, ты должен найти ему хорошее применение",

"У тебя есть бессознательное, надобно, чтобы "оно" заговорило",

"У тебя есть тело, им следует наслаждаться",

"У тебя есть либидо, нужно его потратить" и т.д.

Это требование ликвидности, поточности, ускоренной обращаемости психического, сексуального и телесного — точная реплика закона, управляющего товарной стоимостью: капитал должен находиться в обращении, никаких фиксированных пунктов, цепочка инвестиций и реинвестиций не должна прерываться, стоимость должна иррадиировать непрерывно — такова сегодняшняя форма реализации стоимости, сексуальность же, сексуальная *модель*, есть способ ее проявления на уровне тел.

Секс как модель принимает форму *индивидуального* предприятия, опирающегося на ресурсы *естественной* энергии: каждому его желание, и пусть победит лучший

(в наслаждении). Это не что иное, как форма капитала, потому-то сексуальность, желание и наслаждение — *подчиненные* формы. Появившись не так уж давно на горизонте западной культуры в качестве системы отсчета, они показали себя упадочными, остаточными ценностями, идеалом низших классов (буржуазии, потом мелкой буржуазии) на фоне аристократических ценностей крови и рождения, вызова и обольщения или на фоне ценностей коллективных, религиозных и жертвенных.

Впрочем, у тела — тела, с которым мы неустанно себя соотносим, — нет иной реальности, кроме реальности сексуальной и производственной модели. Одним и тем же движением капитал порождает энергетическое тело рабочей силы и то инстинктивное тело, которое сегодня мы воображаем оплотом желания и бессознательного, психической энергии и влечения, пронизанное первичными процессами, — само тело превратилось в первичный процесс и тем самым в антитело, последнюю координатную систему для революции. Оба порождаются одновременно в пространстве вытеснения, их видимый антагонизм не более чем эффект удвоения. Раскрывать в тайне тел какую-то там "развязанную" либидинальную энергию, противостоящую будто бы связанной энергии производительных тел, раскрывать в желании инстинк-тную и фантазматическую истину тела только и означает, что извлекать на поверхность все ту же психическую метафору капитала.

85

Вот вам желание, вот вам бессознательное: шлаковый отвал политической экономии, психическая метафора капитала. И сексуальная юрисдикция предстает идеальным средством в плане фантастической пролонгации юрисдикции частной собственности каждому назначить распоряжение кой-каким капитальцем: капиталом психическим, капиталом либидинальным, капиталом сексуальным, капиталом бессознательным, за который каждому надлежит отвечать перед самим собой, под знаком своего собственного освобождения.

Фантастическая редукция соблазна. Сексуальность в том виде, к которому приводит ее революция желания, сексуальность как способ производства и обращения тел делается таковой, получает возможность озвучиваться в терминах "сексуальных отношений" лишь ценой забвения всякой формы соблазна — так же как социальное начинает озвучиваться в терминах "социальных отношений" или "социальных связей" лишь тогда, когда утрачивает всякую символическую подоплеку.

Повсюду, где секс преподносит себя как функцию, как автономную инстанцию, это происходит за счет ликвидации им соблазна. Сегодня еще он в большинстве случаев лишь замещает и заменяет отсутствующий соблазн или выступает остатком и инсценировкой провалившегося соблазна. *Тогда это отсутствующая форма соблазна, появляющегося как сексуальная галлюцинация* — в форме желания. Именно эта ликвидация процесса обольщения и придает силу современной теории желания.

Взамен формы соблазнительной мы получаем теперь процесс производительной формы, "экономии" пола: ретроспективу влечения, галлюцинацию запаса сексуальной энергии, бессознательного, куда вписаны вытеснение и трассировки желания: все это, как и психическое вообще, — результат автономизации сексуальной формы, точно так же некогда природа и экономика явились осадком автономизированной формы производства. Естество и желание, то и другое в идеализированном виде, суть сменные компоненты поступательно развивавшихся схем освобождения: раньше это было освобождение производительных сил, сегодня — тела и пола.

Рождение сексуального как такового, сексуального слова, как некогда рождение клиники, клинического взгляда: на голом месте, *где не было прежде ничего*, разве что бесконтрольные, бессмысленные, неустойчивые либо предельно ритуализованные формы. Где не было, значит, и вытеснения, которым мы неизменно грузим свои суждения не только о нашем собственном обществе, но, пуще того, и обо всех предшествующих: мы осуждаем их как примитивные в технологическом плане, но по сути также и с точки зрения сексуальной и психической, за неимением у них понятия о сексуальном и бессознательном. Мы-то везучие, у нас этим психоанализ занимается, он все нам рассказал, все тайное облек в слова — невероятный расизм истины, евангелический расизм Слова и его пришествия.

87

Мы притворяемся, будто сексуальное просто вытеснено там, где оно не обнаруживается само по себе, — так мы его спасаем. Но говорить о сублимированной вытесненной сексуальности в первобытных, феодальных и тому подобных обществах, просто говорить в этих случаях о какой-то "сексуальности" и бессознательном — признак непроходимой глупости. И даже вовсе не бесспорно, что это объяснение наилучшим образом подходит к нашему собственному обществу. В этом ключе, т.е. в плане пересмотра самой гипотезы сексуальности, пересмотра выделения пола и желания в особую инстанцию, можно присоединиться к мнению Фуко, когда он говорит (но не по тем же соображениям), что *и в нашей культуре нет и никогда не было никакого вытеснения*.

Сексуальность, как она нам преподносится, как она озвучивается, подобно политической экономии, конечно, всего лишь монтаж, симулякр, который всегда пробивала, забивала и обходила практика, как вообще какую угодно систему. Связность и прозрачность такая же фикция в отношении *homo sexualis*, как и в отношении *homo oeconomicus*.

Все это длительный процесс, который синхронно закладывает фундамент психического и сексуального, который ложится в основу "другой сцены", сцены фан-тазма и бессознательного, и одновременно — производящей здесь энергии, психической энергии, которая не что иное, как прямой эффект сценической галлюци-

нации вытеснения, галлюциногенной энергии как сексуальной субстанции, что затем метафоризируется и ме-тонимизируется по разного рода топическим, экономическим и прочим инстанциям в соответствии со вторичными, третичными и тому подобными модальностями вытеснения, — восхитительное здание психоанализа, прекраснейшая галлюцинация подоплеки мира, как сказал бы Ницше. Какая небывалая эффективность у этой модели энергетической и сценической симуляции, какая небывалая теоретическая психодрама эта инсценировка психе, этот сценарий пола как последней инстанции и высшей реальности (так же кое-кто гипостазировал производство). Впрочем, дело не столько в издержках экономического, биологического или психического на эту инсценировку — дело не в "сцене" или "другой сцене": весь сценарий сексуальности (и психоанализа) как модель-симуляция должен быть поставлен под вопрос и пересмотрен.

Это правда, что сексуальное в нашей культуре возобладало над соблазном и аннексировало его в качестве подчиненной формы. Наше инструментальное видение все вывернуло наизнанку. Потому что в символическом строе сначала идет как раз соблазн, а секс только *присовокупляется* — вдобавок к соблазну, как его нечаянный прирост. В этом смысле можно провести аналогию между сексом и исцелением в практике психоаналитического лечения и, скажем, разрешением от бремени индианки в рассказе Леви-Стросса: все это происходит как бы "в

довершение", помимо причинно-следственных связей — в этом весь секрет "символической действительности":

обольщение мысли влечет процессы внешнего мира — вспомним рассказ Чжуан-цзы о мяснике, который так полно постиг внутреннее строение бычьей туши, что мог описать и разделать ее, совершенно не пользуясь лезвием ножа: род символического разрешения, которое *вдобавок* влечет за собой и решение какой-то практической задачи.

Обольщение тоже действует таким вот способом символической артикуляции, дуальной аналогии со строением другого — это может в довершение повлечь за собой секс, но необязательно. Скорее уж, соблазн — вызов самому существованию сексуального. И если даже по всей видимости наше "освобождение" поменяло местами термины и бросило победоносный вызов строю соблазна, нам неоткуда взять уверенность, что этот триумф не только поверхностный. Вопрос о глубинном превосходстве ритуальных логик вызова и соблазна над экономическими логиками пола и производства остается открытым.

Потому что все освобождения и все революции хрупки, а соблазн неизбежен. Это он их подстерегает — как есть соблазненных, вопреки себе обольщенных гигантским процессом поражений и срывов, совращающим их от их истины, — это он их подстерегает и в самые мину-

90

ты их торжества. Так, даже сексуально ориентированному дискурсу постоянно угрожает опасность "проговориться", высказать нечто иное, чем то, что такой дискурс вообще должен высказывать.

В каком-то американском фильме парень пытается снять девушку, но ведет себя слишком вежливо, осторожничает. Девушка резко бросает: "What do you want? Do you want to jump me? Then, change your approach! Say:

I want to jump you!" Парень смущенно бормочет: "Yes, I want to jump you". — "Then go fuck yourself!", — а чуть позже, когда он сажает ее в машину: "I make coffee, and then you can jump me" и т.д. На самом деле этот дискурс, старающийся быть чисто объективным, функциональным, анатомическим, стремящийся обойтись без всяких нюансов, не что иное, как игра. Игра, вызов, провокация — вот что ясно читается между строк. Сама его грубость насыщена любовными, общими интонациями. Это новый способ обольщения.

Или еще один диалог, на сей раз из "Бала шизофреников" Филипа Дика:

"Отведи меня к себе в комнату и возьми".

"В твоём лексиконе есть нечто непостижимое, что оставляет желать..."

Можно понять это и в том смысле, что предложение твое, мол, неприемлемо, нет в нем поэзии желания, слишком уж оно прямолинейно. Но, с другой стороны, текст говорит прямо противоположное: что предложение содержит нечто "непостижимое" и это *открывает*

путь желанию. Прямое сексуальное приглашение именно слишком прямолинейно, чтобы быть правдой, и в то же время, в тот же миг отсылает к чему-то иному.

По первой версии, здесь просто высказано сожаление по поводу непристойности дискурса. Вторая тоньше: ей удастся показать обходной маневр, петлю непристойности, непристойность как соблазнительное украшение, т.е. как "непостижимый" намек на желание, непристойность слишком брутальную, чтобы быть правдой, слишком грубую, чтобы можно было заподозрить неоткровенность, — непристойность как вызов, а значит, опять-таки как соблазн.

Дело в том, что по сути чистый сексуальный запрос, чистое выражение пола просто невозможны. От соблазна не освободиться, и дискурс антиобольщения есть просто последняя метаморфоза дискурса обольщения.

Чистый дискурс сексуального запроса не только нелепость на *фоне* всей сложности аффективных отношений — его попросту не существует. Обманчивость веры в реальность пола и возможность выразить его без обвиняков, обманчивость всякого дискурса, верящего в прозрачность, — это также обманчивость дискурса функционального, дискурса научного, любого дискурса истины: к счастью, таковой постоянно подрывается, поглощается, разрушается или, точнее, обходится, огибается, *совращается*. Исподтишка он оборачивается против самого себя, исподволь разбирает и размывает его иная игра, иная ставка.

92

Разумеется, нет никакого соблазна ни в порно, ни в сексуальном торге. Они отвратительны, как нагота, отвратительны, как истина. Все это разочарованная форма тела, так же как секс есть упраздненная и разочарованная форма обольщения, как потребительная стоимость есть разочарованная форма вещей, как реальное вообще есть упраздненная и разочарованная форма мира.

Но в то же время наготы никогда не упразднить соблазна, потому что в мгновение ока она превращается в нечто совсем иное, в истерическое украшение совсем другой игры, которая оставляет ее далеко позади. Не бывает никакой нулевой ступени, объективной референции, нейтральности, но всегда только новые ставки. Все наши знаки, кажется, устремились сегодня, как тело в наготы, как смысл в истине, к окончательной и решительной объективности, энтропической и метастабильной форме нейтрального — что же еще представляет собой наготы, идеально-типическое тело периода отпусков, простертое под солнцем, тоже нейтрализованным до простого гигиенического средства, бронзовеющее пародийным демоническим загаром? — и однако разве происходит когда-либо остановка знаков на нулевой точке реального и нейтрального, разве не наблюдается всегда, наоборот, реверсия самого нейтрального в какой-то новой спирали ставок, соблазна и смерти?

Какой соблазн таился в сексе? Какой иной соблазн, какой вызов таятся в удалении сексуальных ставок^ (Тот

93

же вопрос на другом уровне: что завораживает, какой вызов таится в массах, в удалении ставки социального?)

Любое описание разочарованных систем, даже любая гипотеза о разочарованности систем, о вторжении симуляции, сдерживающего устрашения, об упразднении символических процессов и смерти референциалов, по-видимому, ложны. Нейтральное никогда не бывает нейтральным. Оно спохватывается, снова схватывается пленительностью. Но становится ли оно снова объектом соблазна?

Логика соблазнительные и агонистические, логики ритуальные сильнее секса. *Как и власть, секс не может быть последним словом истории.* Так в фильме "Империя знаков": по содержанию это непрерывный половой акт, но упорствующее наслаждение вновь и вновь спохватывается логикой иного порядка. С точки зрения сексуальной фильм невразумителен, потому что, понятное дело, наслаждение должно вести к чему угодно, только не к смерти. Но безумие, завладевающее парой (безумие только для нас, на самом деле это строжайшая логика), уводит героев к таким крайностям, где смысл перестает быть смыслом, где испытание чувств теряет всякую чувственность. Но и мистическим или метафизическим его тоже не назовешь. Это логика вызова, толкающая партнеров неустанно превышать ставку другого. Если быть точнее, то следует учесть крутой

94

поворот, переход от логики удовольствия, господствующей вначале, когда мужчина ведет игру, к логике вызова и смерти, толчок к которой задает женщина — она становится госпожой игры, тогда как вначале была лишь сексуальным объектом. Именно женское опрокидывает ценность/секс и уводит к агонистической логике соблазна.

Здесь нет места никакой перверсии или патологическому влечению, никакому "родству" Эроса с Танатосом или амбивалентности желания, вообще неуместно любое толкование, доносящееся из наших психосексуальных застенков. Ни о сексе, ни о бессознательном здесь нет речи. Половой акт рассматривается тут как ритуальное действие, церемониал или воинский обряд, где смерть — обязательная развязка (как в греческих трагедиях на тему инцеста), эмблематическая форма исполнения вызова.

Итак, непристойное не исключает соблазна, секс и удовольствие могут соблазнять. Даже самые антисоблазнительные фигуры могут обратиться в фигуры соблазна (о феминистском дискурсе было сказано, что по ту сторону своей тотальной непрельстительности он обрел-таки для себя что-то вроде гомосексуального соблазна). Достаточно, чтобы они вышли за пределы своей истины и перешли в некую обратимую конфигурацию, которая есть также конфигурация их смерти. Точно так же

95

обстоят дела и с первостепенной фигурой антисоблазна — властью.

Власть соблазняет. Но не в расхожем смысле какого-то желания масс, какого-то сообщнического желания (тавтология, которая сводится к обоснованию соблазна в *желании других*) — нет: она соблазняет преследующей ее обратимостью, на которой зиждется ее минимальный цикл. Никаких апастителей и подвластных, никаких жертв и палачей ("эксплуататоры" и "эксплуатируемые" — это да, есть такие, с той и с другой стороны существующие раздельно, потому что нет обратимости в производстве, но в том-то все и дело: на этом уровне не происходит ничего существенного). Никаких *раз-дельных* позиций: власть исполняется в плане *дуально-дуэльного* отношения, в котором она бросает вызов обществу и сама принимает вызов — доказать, что смеет существовать. Если она не "разменивается" по этому минимальному циклу соблазна, вызова и лукавства, то попросту исчезает.

В сущности, власти не существует: нет и быть не может односторонности силового отношения, на котором держалась бы "структура" власти, "реальность" власти и ее вечного движения. Все это мечты власти в том виде, в каком они навязаны нам разумом. Но ничто им не соответствует, все ищет собственной смерти, включая и власть. Точнее, все старается размениться в обратимости, упраздниться в цикле (вот почему на самом деле нет ни вытеснения, ни бессознательного — потому что об-

96

ратимость всегда уже тут как тут). *Лишь это соблазняет до глубины.* Власть соблазнительна, только когда становится своеобразным вызовом для себя самой, иначе она простое упражнение и удовлетворяет лишь гегемонист-ской логике разума.

Соблазн сильнее власти, потому что это обратимый и смертельный процесс, а власть старается быть необратимой, как ценность, как она кумулятивной и бессмертной. Она разделяет все иллюзии реальности и производства, претендует на принадлежность к строю реального и таким образом ввергается в воображаемое и суеверия о себе самой (посредством разного рода теорий, которые ее анализируют, хотя бы и с тем, чтобы оспорить). Соблазн точно не относится к строю реального. Он никогда не принадлежал к строю силы или силовых отношений. Но как раз поэтому он обволакивает весь *реальный* процесс власти, как и весь реальный строй производства, этой непрерывной обратимостью и дезаккумуляцией — *без которых не было бы ни власти, ни производства.*

Пустота, прикрываемая властью, пустота в самом сердце власти, в самом сердце производства — именно она сообщает им сегодня последний отблеск реальности. Без того, что ввергает их в обратимость, сводит на нет, *совращает*, они вообще никогда не обрели бы силу реальности.

Впрочем, реальное никогда никого не интересовало. Это место разочарованности, место симулякра аккумуля-

ляции у черты смерти. Нет ничего хуже. Что сообщает ему порой пленительность, что делает истину завораживающе пленительной, так это свершающаяся позади всего воображаемая катастрофа. Разве можно поверить, что власть, экономика, секс, все эти грандиозные *реальные* трюки, продержались бы хоть мгновение без поддерживающей их пленительности, сообщаемой как раз этой изнанкой зеркала, в котором они отражаются, их непрерывной реверсией, осязаемым и неминуемым наслаждением их катастрофы?

Особенно сегодня реальное, кажется, уже не более как груда мертвой материи, мертвых тел, мертвого языка — отложение осадков и отходов. Сегодня еще оценка *резервов реального* (экологические сетования имеют в виду материальные энергии, но скрывают тот факт, что на горизонте вида исчезает не что иное, как сама *энергия реального*, реальность реального и возможность какой бы то ни было разработки реального, капиталистической либо революционной) нас успокаивает: если даже горизонт производства стремится к исчезновению, его легко еще можно заменить горизонтом слова, пола, желания. Освободить, кончать, давать другим слово, брать самим — это что-то реальное, вещественное, это резерв на будущее. А значит, и власть.

К сожалению, все это не так. Точнее, так, да не надолго. Все это мало-помалу самоистребляется. Секс, как и власть, хотят сделать необратимой инстанцией, желание — необратимой энергией (*энергетическим резервом*).

нужно ли напоминать, что желание никогда далеко не уходит от капитала?). Потому что мы, руководствуясь своим воображаемым, наделяем смыслом лишь то, что необратимо: накопление, прогресс, рост, производство. Стоимость, энергия, желание — необратимые процессы, в этом весь смысл их освобождения. (Введите малейшую дозу обратимости в наши экономические, политические, институциональные, сексуальные механизмы — и все мгновенно рухнет.) Именно это обеспечивает сегодня сексуальности ее мифическое полновластие над телами и сердцами. Но это же составляет и хрупкость ее, как и всего здания производства.

Соблазн сильнее производства, соблазн сильнее сексуальности, с которой его никогда не следует смешивать. Это вовсе не внутренний процесс сексуальности, до чего его обычно низводят. Это круговой, обратимый процесс вызова, взлетающих ставок и смерти. Скорее уж сексуальное есть его урезанная форма, описанная в энергетических терминах желания.

Вовлеченность процесса соблазна в процесс производства и власти, вторжение в любой необратимый процесс минимальной обратимости, которая втайне его подрывает и дезорганизует, обеспечивая при этом тот минимальный континуум наслаждения, пронизывающего его, без которого он вовсе был бы ничем, — вот что нужно анализировать. Памятуя о том, что всегда и везде производство стремится истребить соблазн, дабы укорениться исключительно в экономии; силовых отношений —

99

что всегда и везде секс, производство секса стремится истребить соблазн, дабы укорениться исключительно в экономике отношений желания.

Вот почему, принимая гипотезу "Воли к знанию" Фуко, необходимо вместе с тем полностью перефразировать ее изложение. Ведь Фуко только и замечает, что *производство* секса как дискурса, он заморожен необратимым развертыванием и внутренним насыщением речевого поля, которое есть в то же время институция поля власти, с кульминацией в поле знания, которое его рефлектирует (или изобретает). Но откуда же власть черпает эту сомнамбулическую функциональность, это неодолимое призвание насытить пространство? Если и социальность, и сексуальность не имеют собственного существования, но лишь возделываются и инсценируются властью, тогда, быть может, и власть существует лишь как возделанная и инсценированная знанием (теорией) — и в этом случае следует весь комплекс положить в симуляцию, перевернуть это слишком уж совершенное зеркало, даже если производимые им "эффекты истины" столь чудесно поддаются расшифровке.

Впрочем, это уравнение власти и знания, это совпадение их механизмов, которое по видимости правит нам[^] в целиком подконтрольном ему поле, это соединение, которое Фуко преподносит нам как полное и вовсю действующее, — быть может, не более чем конъюнк

100

ция двух мертвых звезд, озаряемых лишь последними отсветами друг друга, поскольку сами они больше не излучают никакого света. В своей обособленной, изначальной фазе власть и знание противостоят друг другу, порой более чем резко (так же, впрочем, как секс и власть). Если сегодня они смешиваются, то не происходит ли это вследствие прогрессирующего истощения их принципа реальности, их различительных черт, их собственных энергий? Тогда соединение их должно возвещать не удвоенную позитивность, а, скорее, близнечную индифференциацию, на пределе которой только фантомы их, спутавшись друг с другом, продолжают преследовать нас.

Этот явный *стазис* власти и знания, который, кажется, наваливается и накатывает отовсюду, скрывает под собой, возможно, не что иное, как *метастазы* вла-сти, раковые пролиферации полностью расстроенной и дезорганизованной структуры, и если власть до такой степени обобщается и может быть обнаружена сегодня решительно на всех уровнях ("молекулярная" власть), если она становится раком в том смысле, что клетки ее пролиферируют по всем направлениям, не подчиняясь более старому добруму "генетическому коду" политики, то все дело здесь в том, что сама она охвачена раком и вовсю уже разлагается. Или власть поражена гиперреальностью и как раз посреди кризиса симуляции (раковой пролиферации одних и тех же *знаков* — знаков власти) достигает этой обобщенной

101

диффузии и этого насыщения. Своей сомнамбулической операционности.

Значит, нужно всегда и везде выдерживать пари симуляции, обращать внимание на реверс знаков, потому что, взятые с лицевой стороны и принятые за чистую монету, они, конечно же, всегда приведут нас к реальности и очевидности власти. И точно так же—к реальности и очевидности пола и производства. Именно этот позитивизм и нужно брать с реверса, и как раз этой реверсией власти в симуляции следует заниматься. Сама власть никогда не выдвинет такой гипотезы, как не выдвинута она и текстом Фуко, за что следует его упрекнуть, поскольку тем самым он не порывает с *приманкой* власти.

Перед системой, одержимой полнотой власти и полнотой пола, следует поставить вопрос о пустоте; перед системой, одержимой властью в качестве непрерывной экспансии и инвестиции, — вопрос о реверсии этих пространств: реверсии пространства власти, реверсии сексуального пространства и дискурса; перед системой, замороженной производством, — вопрос о соблазне.

II. Поверхность бездны

Священный горизонт видимостей

Что соблазн, может означать применительно к дискурсу? *Совращенный* дискурс лишается своего смысла и отклоняется от своей истины. Происходит обратное тому, что предполагает психоаналитическое различение явного и скрытого дискурсов. Ведь скрытый дискурс уводит явный дискурс к его истине, а не *от* нее. Он принуждает его высказать то, чего говорить не хотелось, он вскрывает глубинную обусловленность — или необусловленность — произнесенного явно. Всегда за пробелом маячит глубина, и смысл — за чертой отрицания. Явный дискурс наделен статусом видимости, которая проникнута, пронизана проступающим наружу смыслом. Задача истолкования — устранить видимости, разрушить игру явного дискурса и затем вызволить смысл, восстановив связь со скрытым дискурсом.

При совращении все наоборот: здесь некоторым образом явное, дискурс в наиболее "поверхностном" своем аспекте, обращается на глубинный распорядок (сознательный или бессознательный), чтобы аннулировать его, подменив чарами и ловушками видимое -

105

тей. Видимостей далеко не пустяковых, поскольку здесь ведется игра, здесь делаются ставки, здесь накаляется страсть совращения — обольстить сами знаки оказывается важнее, чем дать проступить наружу какой-то там истине, — однако истолкование все это отбрасывает или разрушает в своих поисках скрытого смысла. Вот почему оно есть крайняя противоположность обольщения, вот почему толковательный дискурс менее всего соблазнителен. И дело не только в тех бесчисленных опустошениях, которые учиняются им в царстве видимостей: может статься, что вообще в этом приоритетном поиске скрытого смысла таится глубокое заблуждение. В самом деле, если мы хотим найти то, что отклоняет дискурс — уводит в сторону, "совращает" в собственном смысле, соблазняет и делает соблазнительным, — к чему далеко ходить, углубляться в какой-то *Hinterwelt* или бессознательное: причина заключена в самой его видимости, в поверхностном круговращении его знаков, беспорядочном и случайном либо же ритуальном и кропотливом, в его модуляциях, его нюансах:

все это размывает концентрацию смысла, и соблазнительно именно это, тогда как смысл дискурса никогда еще никого не прельщал. *Всякий смысловой дискурс желает положить конец видимостям*: вот его приманка и его обман. Но также и абсолютно невозможное предприятие: дискурс неумолимо отдается во власть своей собственной видимости, а значит, вовлекается в игру обольщения, и значит, подчиняется неизбежности *свое-*

106

го провала как дискурса. Но вполне возможно, что всякий дискурс втайне искушаем этим провалом и этим распылением своих собственных целей, своих эффектов истины — в эффектах поверхности, играющих роль зеркала, которое абсорбирует и поглощает смысл. Вот что происходит в самую первую очередь, когда дискурс *сам себя обольщает* — изначальная форма, позволяющая ему абсорбироваться и опустошиться от своего смысла, чтобы тем легче завораживать других: первобытное обольщение языка.

Всякий дискурс втайне участвует в этом завлечении, в этом пленительном прельщении, и если даже сам он этого не делает, вместо него это сделают другие. Все видимости составляют заговор, чтобы дать бой смыслу, чтобы искоренить всякий смысл, преднамеренный или же нет, и обратить его в игру, в другое правило игры, на сей раз произвольное, в другой, неуловимый ритуал, более рискованный и соблазнительный, нежели генеральная линия смысла. И биться дискурсу приходится не столько с тайной бессознательного, сколько с поверхностной бездной своей собственной видимости, победа же, если она суждена, одерживается не над грузными фантазмами и галлюцинациями смысла или того, что противно смыслу, но над искрящейся, играющей тысячью игр, поверхностью бессмыслицы. Только недавно удалось вывести из игры эту ставку обольщения, чья стихия — священный горизонт видимостей, и заменить ее ставкой "углубленности", ставкой бессознательного,

107

ставкой истолкования. Но ничто не мешает нам подозревать хрупкость и эфемерность такой замены, ничто не мешает усомниться в этом скрытом дискурсе и его призрачном господстве, открытом психоанализом — открытие, равнозначное обобщению терроризма и насилия истолкования на всех уровнях, — никто не знает, насколько прочен весь этот механизм, с помощью которого из игры вывели или пытались вывести всякое обольщение, не окажется ли он сам при ближайшем рассмотрении лишь весьма хрупкой моделью-симуляцией, принимающей вид непреодолимой структуры только потому, что требуется как можно лучше скрыть все побочные эффекты — именно эффекты обольщения, начинающие подтачивать все строение. Ведь вот что самое скверное для психоанализа: бессознательное совращает, оно обольщает своими грезами, обольщает самим понятием "бессознательного", обольщает все время, пока "оно говорит", пока оно желает говорить — повсюду сказывается структурная двойственность, мы видим, как побочная структура, отмеченная потворством знакам бессознательного и их взаимообмену, поглощает основную, в которой творится "работа" бессознательного, чистую и жесткую структуру перенесения и контрперенесения. Психоаналитическое строение принимает все более омертвелый вид, совратив самое себя — и всех остальных заодно. Станем на мгновение сами аналитиками и поставим диагноз: мы наблюдаем реванш изначально вытесненного, расплату за *вытеснение соблаз-*

на, на котором возрастает психоанализ как "наука" — начиная с самого Фрейда.

Труд Фрейда выстраивается между двумя крайностями, которые вновь и вновь с предельной остротой ставят под вопрос надежность промежуточного строения: между соращением и влечением смерти. О влечении смерти, понятом как своеобразная реверсия предшествующего аппарата психоанализа (топико-экономического), мы уже говорили в книге "Символический обмен и смерть". Что до соращения, которое после долгих перипетий в силу какого-то тайного сродства снова сходится с другой крайностью, то его следовало бы назвать утерянным объектом психоанализа.

"По традиции, отказ Фрейда от теории соращения (1897) рассматривается как решающий шаг на пути к утверждению психоаналитической теории и выдвигению на передний план таких понятий, как бессознательная фантазия, психическая реальность, спонтанная инфантильная сексуальность и т.д."

("Словарь психоанализа", *Лаплани* и *Понталис*.)

Уже не первородная форма, соращение низводится до положения "первичной фантазии" и соответственно, по чуждой ему самому логике, трактуется как своего рода

109

осадак, остаток, дымовая завеса в логическом и структурном поле торжествующей отныне психической и сексуальной реальности. Ошибкой было бы расценивать это умаление соращения как нормальную фазу роста: здесь речь идет о ключевом, чреватом многими последствиями событии. Как известно, соращение исчезнет в дальнейшем из психоаналитического дискурса, а если когда и всплывет снова, то лишь затем, чтобы вновь быть похороненным и преданным забвению, в логическое подтверждение скрепленного самим мэтром учредительного акта об отклонении соращения. Оно не просто отодвигается в сторону как некий вторичный элемент в сравнении с другими, более важными (как то: инфантильная сексуальность, вытеснение, Эдипов комплекс и т.п.), — оно отвергается как угрожающая форма, которая при случае может оказаться смертельно опасной для дальнейшего развития и логической связности всего построения.

С Соссюром приключилось такая же точно история, как и с Фрейдом. Он начал с "Анаграмм", с описания особой формы языка — или истребления языка, кропотливо-ритуальной формы деконструкции смысла и стоимости, но затем тоже от всего отрекся, чтобы приступить к-построению лингвистики. Вираз, вызванный явной неудачей его пробного предприятия, — или же отступление с позиции *анаграмматического вызова* ради перехода к *конструктивной* затее, к основательному и научному изучению способа производства смысла, исклю-

110

чая возможное его истребление? Как бы то ни было, лингвистика родилась именно из этой необратимой конверсии, которая отныне будет составлять ее аксиому и фундаментальное правило для всех, кто продолжит труд Соссюра. К тому, что убито, больше не возвращаются, и забвение этого изначального убийства — необходимый элемент логического и триумфального развития любой науки. Всей энергии траура и мертвого объекта суждено раствориться в симулированном воскрешении действий живого. И все же следует сказать, что Соссюр хотя бы сумел под конец прочувствовать осечку этой лингвистической затеи, оставив все в слегка подвешенном состоянии, так что в принципе можно разглядеть сбойность и возможную иллюзорность всей этой столь слаженной на вид механики подстановки. Но подобная щепетильность, из-за которой вообще-то мог обнаружиться факт насильственного и преждевременного погребения "Анаграмм", оказалась совершенно чуждой его наследникам, которым довольно было просто распоряжаться полученной в наследство дисциплиной, — никогда уже не встревожит их мысль об этой бездне языка, бездне языкового обольщения, об этом процессе абсорбции, который столь радикально отличается от производства смысла. Саркофаг лингвистики был надежно запечатан, и поверх наброшен саван означającego.

111

Так и саван психоанализа набрасывается на обольщение, саван скрытого смысла и *скрытой* прибавки смысла — за счет поверхностной бездны видимостей, той абсорбирующей поверхности, панически моментальной поверхности знакового обмена и соперничества, которую образует обольщение (истерия не что иное, как его "симптоматическое", уже контаминированное латентной структурой симптома проявление, а значит, допсихоаналитическое, а значит, размытое, почему истерия и смогла послужить "матрицей конверсии" для психоанализа как такового). Фрейд тоже устранил обольщение — дабы заменить его предельно оперативной механикой *истолкования*, предельно сексуальной механикой вытеснения, которая выказывает все характеристики объективности и связности (абстрагируясь от всевозможных внутренних судорог психоанализа, личностных и теоретических, отчего трещит по швам вся эта распрекрасная связность, отчего ожившими мертвецами восстают все вызовы и соблазны, задавленные было ригоризмом дискурса, — но по сути, скажут добрые души, разве не означает это, что психоанализ жив?). Фрейд хотя бы четко рвал с обольщением, отдаваясь истолкованию (вплоть до последней версии метапсихологии, которая уж точно означает разрыв), однако все вытесненное этим замечательным актом предвзятости так или иначе воскресало в бесчисленных конфликтах и перипетиях истории психоанализа, оно вновь возвращается в игру в ходе любого лечения (истерия здравствует и поныне!), и

112

разве не забавно видеть, как с появлением на сцене Лакана обольщение буквально захлестывает психоанализ, приняв галлюцинаторную форму игры означающих, от которой психоанализ в той строгой, взыскательной форме, которую желал придать ему Фрейд, испускает дух столь же верно и даже еще вернее, чем от своего превращения в институт и неизбежной в таком случае тривиализации.

Конечно, лакановское обольщение — сплошной обман и лукавство, но оно некоторым образом исправляет — заглаживает и искупает — изначальный обман самого Фрейда: отторжение формы обольщение в пользу "науки", которая и наукой-то едва ли является. Дискурс Лакана, обобщающий в себе психоаналитические приемы обольщения, в некотором роде мстит за это отторгнутое обольщение, только сам способ мщения контами-нирован психоанализом, т.е. в маске мстителя всегда угадываются черты Закона (символического) — лукавое обольщение, которое вечно прикрывается чертами закона и личиной Мэтра, властвующего Словом над истерическими, неспособными к наслаждению массами...

И все же феномен Лакана — скорее всего, свидетельство смерти психоанализа, его гибели под натиском триумфального, хотя бы и посмертного, восстания всего того, что было отвергнуто вначале. Разве нельзя это назвать исполнением судьбы? По крайней мере психоанализ имеет шанс, начав с Великого Отречения, закончить Великим Обманщиком.

113

Что эта великолепная постройка, эта обитель смысла и толкования, возведенная как никогда более тщательно, обрушивается, не выдержав веса и игры своих собственных знаков, которые из неподъемных терминов смысла снова превратились в уловки безудержного обольщения, в неудержимые термины динамичного обмена, потворствующего игре и лишнего смысла (даже в ходе лечения), — этот факт должен, видимо, воодушевить и ободрить нас. Это знак того, что по крайней мере от истины мы будем избавлены (почему обманщики только и властвуют). И того еще, что кажущийся провал психоанализа в действительности не что иное, как свидетельство искушения, которому подвержена любая великая система смысла, — искушения целиком провалиться в свое собственное отражение с риском потерять всякий смысл, — так возвращается пламя первобытного обольщения и видимости берут реванш. Но тогда в чем же, собственно, обман? Отвергнув в начале пути форму обольщения, психоанализ, быть может, всю дорогу представлял собой некую иллюзию-приманку — иллюзию истины, иллюзию толкования, — которую со временем изобличает и компенсирует лакановская иллюзия обольщения. Так замыкается круг — оставляя, возможно, шанс для каких-то других форм исследования и обольщения.

Та же история — с Богом и с Революцией. Манящей иллюзией иконоборцев было отбросить видимости, чтобы дать истине Бога раскрыться во всем блеске. Иллю-

114

зией, потому что никакой истины Бога нет, и в глубине души они, наверное, знали это, так что неудача их была подготовлена той же интуицией, которой руководствовались и почитатели икон: *жить можно только идеей искаженной истины*. Это единственный способ жить истиной. Иначе не вынести (потому именно, что *истины не существует*). Нельзя желать отбросить видимости (соблазн образов). Нельзя допустить удачи подобной затеи, потому что тогда моментально обнаружится отсутствие истины. Или отсутствие Бога. Или же отсутствие Революции. Жизнь Революции поддерживается только идеей о том, что ей противостоит все и вся, в особенности же ее пародийный сиамский двойник — сталинизм. Сталинизм бессмертен: его присутствие всегда будет необходимо, чтобы скрывать факт отсутствия Революции, истины Революции — тем самым он возрождает надежду на нее. По словам Ривароля, "народ не хотел Революции, он хотел лишь зрелища" — потому что это единственный способ сохранить соблазн Революции, вместо того чтобы уничтожать его в революционной истине.

"Мы не верим тому, что истина остается истиной, когда снимают с нее покров" (Ницше).

Обманка, или Очарованная симуляция

Симуляция разочарованная: порнография — правдивей правды — вот апогей симулякра.

Симуляция очарованная: обманка — лживей ложного — вот тайна видимости.

Здесь нет ни фабулы, ни рассказа, ни композиции. Нет сцены, нет зрелища, нет действия. Все это обманка предает забвению, обходясь чисто декоративной фигурацией неважно каких объектов. Эти же объекты фигурируют и в крупномасштабных композициях эпохи, однако в обманке они фигурируют изолированно, они словно отторгнули дискурс живописи — и тотчас оказывается, что они, собственно, уже не "фигурируют", перестают быть объектами, перестают быть неважно какими. Перед нами белые, пустые знаки, заявляющие ан-типафосность и антирепрезентативность в плане социальном, религиозном, художественном. Шлак и хлам социальной жизни, они оборачиваются против нее и пародируют ее театральность: потому они разбросаны как попало, располагаясь там, где застигнет их случай. Смысл в том, что *эти объекты таковыми появляются*. Они не опи-

116

сывают, как натюрморт, знакомой реальности — они описывают пустоту, отсутствие — отсутствие какой бы то ни было фигуративной иерархии, призванной упорядочивать элементы картины, или же политического устройства.

Это не какие-нибудь тривиальные фигуранты, смещенные с основной сцены, — это призраки, населяющие пустоту сцены. Так что соблазн их—не эстетическое прельщение живописного сходства, но острое метафизическое обольщение пропавшей реальности. Объекты-призраки, метафизические объекты, своей реверсией из реальности они резко противопоставляют себя репрезентативному пространству Ренессанса.

Их незначительность агрессивна. Только объекты вне всякой референции, без какого-либо обрамления — все эти старые тетради, старые книги, старые гвозди, старые доски, остатки пищи только объекты изолированные, выброшенные, фантомные в своей выписанности из любого возможного повествования — только в них может проступить призрачность утраченной реальности, нечто вроде жизни, предваряющей рождение субъекта и его сознания. "Прозрачный, аллюзивный образ, ожидаемый любителем искусства, заменяется обманкой на непроницаемую непрозрачность Присутствия" (Пьер Шарпантра). Симулякры без перспективы, фигуры обманки показываются внезапно, с пунктуальностью звезд, словно совлекши с себя ауру смысла и купаясь в пустоте эфира. Как чистые видимости, они ироничны: ирония избытка реальности.

117

В обманке нет ни природы, ни ландшафта, ни неба, ни линий перспективы, ни естественного освещения. И никакого лица, никакой психологии, никакой историчности. Здесь все— артефакт, изолированные объекты вне своего референциального контекста, возведенные вертикальным фоном в чистые знаки.

Полупрозрачность, подвешенность, хрупкость, изношенность — отсюда настойчивое присутствие бумаг, писем (обтрепанных по краям), зеркал и часов, истершихся и устаревших знаков какой-то канувшей в повседневном запредельности — зеркало из бывших в употреблении досок, на которых узелки и концентрические линии заболони отмечают время, что-то вроде настенных часов без стрелки, оставляющих только гадать, который час: это уже отжившие свой срок вещи, уже имевшее место время. Единственное, что придает им рельефность, — анахроничность, скрученная в инволюции фигура времени и пространства.

Здесь нет плодов, яств, цветов, никаких корзин или букетов, никаких вообще услад и отрад (мертвой) природы — натюрморта. В последнем случае мы имеем плотскую природу, она располагается плотски в горизонтальном плане, плане почвы или стола — конечно, иногда здесь обыгрываются дисбаланс и диспропорция, вещи показываются искромсанными по краям и недолговечными в употреблении, но они всегда сохраняют весомостьреальных объектов, подверженных силе тяжести, которую подчеркивает горизонтальность, — тогда как

118

обманка играет на невесомости, отмеченной вертикальным фоном: все тут в подвешенном состоянии, вещи и время, даже освещение и перспектива, потому что, в отличие от классических объемов и теней натюрморта, у теней обманки нет глубины, сообщаемой каким-либо *реальным* источником освещения: подобно изношенное • та вещей, они служат знаком легкого головокружения — умопомрачения предшествующей жизни, предварающей реальность видимости.

У этого таинственного света нет источника, в косом падении его лучей нет уже ничего реального, он как водная гладь без глубины, вода застойная и на ощупь мягкая, как естественная смерть. Вещи тут давно утратили свою тень (свою вещественность). Не солнце их освещает, а иная, ярчайшая, звезда, и вместо атмосферы здесь — не преломляющий лучей эфир: быть может, их напрямую озаряет сама смерть, и тень их только этот смысл и имеет? Эта тень не поворачивается вместе с солнцем, не растет под вечер, не дрожит и не колеблется: неременная, непоколебимая бахрома вещей. Она не следует законам кьяроскуро или ученой диалектики света и тени, неизменно участвующей в игре живописи, — это просто прозрачность вещей в лучах черного солнца.

Чувствуется близость этих объектов черной дыре, откуда течет к нам реальность, реальный мир, обычное время. Такой эффект смещения центра вперед, вынесение зеркала объектов навстречу субъекту сопутствует *явлению двойника* под видом всех этих скучных, бесцвет-

ных объектов, что и рождает присущий обманке эффект обольщения, захваченности: осязаемое умопомрачение, перекликающееся с шальным желанием субъекта сжать в объятиях собственное отражение и в результате исчезнуть. Потому что реальность захватывает тогда только, когда наше тождество в ней теряется или накатывает на нас галлюцинацией нашей собственной смерти.

Физическая попытка ухватить вещи, однако сдержанная, как бы подвешенная, и потому уже скорее метафизическая, — объекты обманки окутаны таким же волшебством, как и момент открытия ребенком своего зеркального отражения, это что-то вроде вспышки непосредственной галлюцинации, предшествующей перцептивному строю.

Поэтому чудесное действие обманки, если уж на то пошло, никак нельзя связывать с реалистичностью изображения. Виноград Зевксида, написанный столь правдиво, что птицы слетаются поклевать его? Ерунда все это. Не от избытка реальности можно ждать чуда, а как раз наоборот, от внезапного ослабления реальности, когда мы вдруг лишаемся почвы под ногами и в полуобмороке балансируем на краю бездны. Эта утрата сцены реального как раз и передается посредством *сюрреальной* знакомости вещей. Когда распадается иерархическая организация пространства с привилегированным положением глаза и зрения, когда эта перспективная симуляция — потому что это только симулякр — лишается силы, вступает в игру нечто иное, нечто связанное с *ося-*

120

занием (воспользуемся этим выражением за неимением лучшего), некое осязательное гиперприсутствие вещей, которые "как бы схватываются". Однако этот тактильный фантазм ничего общего не имеет с обычным чувством осязания: здесь речь идет о метафоре той "захваченности", которую рождает упразднение сцены и пространства представления. Эта захваченность сразу проецируется на окружающий мир, который мы называем "реальным", и открывает нам, что "реальность" — это на сцене поставленный мир, объективированный глубиной и ее правилами, что это *принцип*, которому следуют и с которым соотносятся живопись, скульптура и архитектура эпохи, но все же не более чем принцип, не более чем симулякр — которому экспериментальная гиперсимуляция обманки кладет конец.

Создатель обманки не имеет в виду совпадение образа с реальностью — он производит симулякр, вполне сознавая правила и уловки ведущейся здесь игры: имитируя третье измерение, он ставит под сомнение реальность этого третьего измерения, имитируя и утрируя эффект реального, он подвергает радикальному сомнению сам принцип реальности.

Ослабление хватки реального *через эксцесс видимостей реального*. Вещи тут слишком уж похожи на то, что они действительно есть, но это сходство — как бы вторичное состояние, тогда как истинный их рельеф, про-

121

ступающий за этим *аллегорическим* сходством сквозь льющийся по диагонали свет, — это выпуклая ирония избытка реальности.

Глубина тут вывернута наизнанку: вместо убегающих вдаль линий ренессансного пространства в обманке эффект перспективы некоторым образом проецируется вперед. Объекты здесь уже не бегут панорамой перед обшаривающим их глазом (привилегия паноптического взгляда), но сами "обманывают" глаз благодаря своего рода внутреннему рельефу — не потому, что внушают веру в реальный мир, которого не существует, но потому, что, вступив в игру, опрокидывают привилегированную позицию взгляда. Глаз перестает быть генератором развернутого пространства, становясь вместо этого внутренней точкой схождения проходящих через объекты линий. Впереди расплзается совсем иная вселенная — здесь *нет горизонта*, никакой горизонтальности, это как тусклое зеркало, в которое упирается взгляд, и позади него — ничего. Такова, собственно, сфера видимости: самим вам ничего не видать, это вещи вас видят, они не убегают от вас, но бросаются вам навстречу, освещенные этим светом, который льется невесть откуда, бросая эту тень, которая никак не может утянуть их в настоящее третье измерение. Ведь это измерение, измерение перспективы, всегда указывает также глубину нечестности знака по отношению к реальности — вся наша живопись со времен Ренессанса растлевается этой нечестностью.

122

Отсюда контрастирующая с эстетическим наслаждением жутковатая странность обманки, отсюда *Unheimlichkeit* диковинного рассвета, в чьих лучах является она этой сверхновой реальности Запада, что триумфально прорастает из Ренессанса: обманка есть ее *иронический симулякр*. Сюрреализм был тем же самым по отношению к функционалистской революции начала двадцатого века — ведь сюрреализм тоже не что иное, как иронический сдвиг по фазе принципа функциональности. Как и обманка, сюрреализм, строго говоря, не принадлежит к истории искусства: им присуща метафизическая значимость. Они атакуют нас, обрушиваясь на сам эффект реальности или функциональности, а значит, и эффект сознания. Они целят в изнанку и реверс, они разрушают очевидность мира. Вот почему их наслаждение, их обольщение столь радикальны, даже если ничтожно малы, — ведь соблазн их рождается от радикального *налета* видимостей, от жизни, предваряющей способ производства реального мира.

В этом плане обманку уже не втиснуть в понятие живописи. Подобно своему сверстнику *stucco*, она может делать, имитировать, пародировать решительно все. Она делается прототипом злокозненного использования видимостей. Игра принимает фантастический размах в XVI веке и заканчивается стиранием границ между живописью, ваянием и зодчеством. В настенных и потолоч-

ных росписях ренессанса и барокко смешиваются живопись и скульптура. В обманках-стенах и улицах Лос-Анджелеса архитектура обманывается и забывается иллюзией. Обольщение пространства знаками пространства. После стольких разговоров о производстве пространства не самое ли время поговорить о его обольщении?

Политического пространства в том числе. Например, студиолы герцога Урбинского, Федерико да Монтефельтре, в герцогских дворцах Урбино или Губбио: крошечных размеров святилища, вылитые обманки в сердце необъятного дворцового пространства. Дворец — триумф ученой архитектурной перспективы, развернутое по всем правилам пространство. Студиоло же — обратно повернутый микрокосм: отрезанный от остального здания, без окон, без пространства в собственном смысле — *пространство здесь провернуто симуляцией*. Если дворец в целом представляет собой истинное архитектурное деяние, явный дискурс искусства (и власти), то как обстоит дело с этой ничтожной клеточкой студиоло, что соседствует с капеллой как еще одно сакральное место, только с оттенком чародейства? Не очень-то ясно, что именно происходит здесь с пространством, а значит, и со всей системой репрезентаций, на которую опирается как дворец, так и республика.

Пространство *privatissime*, студиоло — частный удел Князя, как инцест и трансгрессия были монополией

царственных особ. Здесь действительно правила игры выворачиваются наизнанку, и в принципе это позволяет иронически предположить, воспользовавшись аллегорией обманки, что внешнее пространство, дворцовое и далее городское, что вообще пространство власти, политическое пространство — *все это, возможно, лишь какой-то эффект перспективы*. Столь опасный секрет, столь радикальную гипотезу Князь обязан хранить для себя, при себе, в строжайшей тайне: *ведь это и есть секрет его власти*.

Вероятно, политики всегда это знали где-то со времени Макьявелли: что источник власти — владение *симулированным* пространством, что политика как деятельность и как пространство — *вне реальности*, представляя собой модель-симуляцию, все манифестации которой — лишь еще один реализованный эффект. Это слепое пятно дворца, это изъятое из архитектуры, оторванное от публичной жизни место, которое некоторым образом управляет всем ансамблем, — здесь не прямая детерминация, но своего рода внутренняя реверсия, революция правила, проводимая втайне, как в первобытных ритуалах, дыра в реальности, ироническое преобразование — вылитый симулякр, скрытый в сердце реальности, от которого та зависит во всех своих действиях и проявлениях: *это сама тайна видимости*.

Так и папа, великий инквизитор, великие иезуиты и теологи — все они знали, что Бога не существует: в этом был их секрет и их сила. Так и студиоло-обманка Мон-

125

тефельтре — обратный секрет небытия на самом дне реальности, секрет всегда возможной обратимости "реального" в глубину пространства, включая и политическое — главный секрет политического как такового, со временем основательно затерявшийся в иллюзорной "реальности" масс.

I'll be your mirror

Обманка, зеркало или картина: очарование *недостающего измерения* — вот что нас околдовывает. Именно это недостающее измерение образует пространство обольщения и оборачивается источником умопомрачения. И если божественное призвание всех вещей — обрести некий смысл, найти структуру, в которой их смысл основывается, ими столь же несомненно движет и дьявольская ностальгия, подталкивая к растворению в видимостях, в обольщении собственного образа или отражения, т.е. к воссоединению того, что должно оставаться разделенным, в едином эффекте смерти и обольщения. Нарцисс.

Обольщение в принципе выходит за рамки какого-либо представления, поскольку дистанция между реальностью и ее двойником, разрыв между Тожественным и Иным здесь упраздняются. Склонившись над источником, Нарцисс исцеляется от иссушающей раздвоенности: его отражение перестает быть "иным", теперь это его собственная внешность — эта поверхность, которая поглощает его, обольщает его, так что сам он может лишь

127

приближаться к ней до бесконечности, но не в состоянии прорваться по другую сторону, поскольку никакой другой стороны просто нет, как нет между ними никакой рефлексивной дистанции. Зеркало вод — поверхность абсорбирующая, а не отражающая.

Вот почему фигура Нарцисса с особенной силой выделяется среди всех прочих великих фигур обольщения, населяющих мифологию и искусство, — обольщения пением, отсутствием, взглядом или косметикой, красотой или уродством, славой, но также поражением и смертью, маской или безумием...

Не зеркало-отражение, вызывающее в субъекте внутренние перемены, не стадия зеркала, на которой субъект находит себе обоснование в воображаемом. Все это имеет отношение к психологическому строю инаковости и тождественности, но не к строю обольщения и соблазна.

Скудостью отличается любая теория отражения, особенно же идея, будто соблазн коренится в притяжении тождественным, в миметическом восхищении собственным образом или в каком-то идеальном мираже сходства. Вот что в связи с этим пишет Винсент Декомб в книге "Бессознательное поневоле":

"Соблазняет не какой-то определенный женский трюк, но скорее то, что проделан он именно *для вас*. Соблазнительно быть соблазняемым, обольденность — вот что обольстительно. Иными словами, обольстителей

тот человек, в котором мы обнаруживаем обольденность. Обольщенный в другом находит то, что его прельщает, единственный и неповторимый предмет своей заворожности, а именно свое собственное существо, сплошное очарование и соблазн, лестный образ себя самого..."

Всегда только самообольщение, со всеми его психологическими перипетиями. Между тем, в нарциссическом *мифе* не идет речи о зеркале, в котором Нарцисс мог бы заново обрести свой идеально живой образ, речь идет о зеркале как отсутствии глубины, как поверхностной бездне, которая соблазнительна и умопомрачительна для других потому только, что каждый из нас первым очертя голову в нее бросается.

Всякий соблазн в этом смысле нарциссичен, и весь секрет его — в этой смертоносной поглощенности. Вот почему именно женщинам, которым ближе это другое, тайное зеркало, где они хоронят свое тело и свой образ, ближе оказываются и всевозможные эффекты соблазна. Что до мужчин, то у них есть глубина, но нет тайны:

отсюда их сила — и их слабость.

Соблазн не порождается идеальным миражом субъекта, но точно так же не исходит он и от идеального миража смерти. Вот версия Павсания:

"У Нарцисса была сестра-близнец, точь-в-точь похожая на него во всем: оба были одинаковы и лицом и прической, одевались в одинаковую одежду и в довершение всего

вместе ходили на охоту. И вот Нарцисс влюбился в сестру, и когда девушка умерла, он стал ходить к этому источнику, и хотя он понимал, что видит лишь собственную тень, но, даже понимая это, ему все же было утешением в любви то, что он представлял себе, что видит не свою тень, а что перед ним образ сестры".

А.-П.Жеди подхватывает именно эту версию, когда уверяет, что Нарцисс потому только сумел обольстить себя самого, смог найти в себе силу обольщения, что миметически сочетался с утраченным образом покойной близняшки-сестры, возвращенным в его собственном облике.

Но действительно ли необходимо миметическое соотнесение с этим образом покойницы для того, чтобы прочувствовать нарциссово умопомрачение? Ему не требуется никакого близнечного преломления — ему достаточно себя самого как приманки, которая в действительности, быть может, есть приманка собственной смерти — смерть же, может быть, в действительности всегда кровосмесительна — это может лишь усилить ее очарование. "Сестринская душа" — результат спиритуализации того же мотива. Великие истории обольщения — истории Федры или Изольцы — построены на инцесте, и они всегда кончаются роковым образом. Какой же отсюда напрашивается вывод, если не тот, что сама смерть манит нас в инцесте и древнем как мир искушении инцестом, включая также *кровосмесительное отно-*

шение, в которое мы вступаем с собственным образом? Наш образ обольщает нас потому, что в кощунстве нашего существования утешает неминуемостью смерти. Инволюционное вхождение в свой образ до самой смерти утешает нас перед лицом необратимости факта нашего рождения и необходимости воспроизводить самих себя. Именно благодаря этой чувственной, инцестуозной сделке со своим образом, двойником, смертью нашей, и обретаем мы нашу силу обольщения.

"I'll be your mirror". "Я буду вашим зеркалом" не означает "Я буду вашим отражением", но — "Я буду для вас приманкой".

Соблазнять — значит умирать как реальность и рождаться в виде приманки. При этом попадают на собственную приманку — и попадают в зачарованный мир. Такова сила обольщающей женщины, которая попадает в западню собственного желания и сама себя очаровывает тем, что она приманка, на которую, в свою очередь, должны клюнуть другие. Нарцисс тоже пропадает в своем манящем отражении: именно так он совращается, отклоняясь от собственной истины, и этим своим примером он становится моделью любви, совращая и других от их собственной истины.

Стратегия обольщения — это стратегия приманки. Обольщение приманки подстерегает любую вещь, которая стремится слиться с собственной реальностью.

131

В этом источник баснословной силы. Ведь если производство только и умеет, что производить какие-то материальные объекты и реальные знаки, через это обретая какую-никакую силу, то обольщение производит лишь приманки, но получает благодаря этому все мыслимые силы, в том числе силу завлечь производство и реальность в их основополагающую иллюзию-приманку.

Обольщение приманки подстерегает даже бессознательное и желание, превращая эти вещи в *зеркало* бессознательного и желания. Ведь желание захватывает лишь влечение и наслаждение, а настоящее колдовство начинается по ту сторону — когда попадают в ловушку собственного желания. Такова приманка, которая, на наше счастье, спасает нас от "психической реальности". Такова же приманка психоанализа, поскольку он покупается на свое собственное желание психоанализа: таким образом он погружается в обольщение, самообольщение — и преломляет силу соблазна в собственных своих целях.

Итак, всякая наука, всякая реальность, всякое производство только и делают, что отсрочивают миг соблазна, который в форме бессмыслицы, чувственной и сверхчувственной бессмыслицы, сверкает на небе их собственного желания.

"Raison d'etre приманки. Сокол всякий раз прилетает на красный кожаный лоскут, имеющий вид птицы, — не такая же ли иллюзия сообщает при неоднократном повто-

рени абсолютную реальность пленяющему нас объекту? Вера или заблуждение здесь ни при чем, приманка — это в некотором роде *признание бесконечной силы соблазна*. Потеряв свою близняшку-сестру, Нарцисс справляет по ней траур тем, что ставит для себя неотразимую приманку собственного лица. Ни сознание, ни бессознательное в этой игре не участвуют, здесь нет ничего, кроме обмана".

Приманка может быть вписана в небеса, сила ее от этого ничуть не меньше. Каждому знаку зодиака присуща особая форма соблазна. Ведь каждый из нас ищет милости бессмысленной судьбы, каждый уповает на колдовскую силу какого-то абсолютно иррационального стечения обстоятельств — таково могущество знаков зодиака и гороскопа. И смеяться над этим не стоит — ведь тому, кто отказался от мысли соблазнить звезды, уж точно невесело. Действительно, беда многих как раз в том, что они не витают в заоблачных высях, среди небесных знаков, которые могли бы им подойти, — в сущности, они не уступили соблазну собственного рождения и созвездия, под которым родились. Через всю свою жизнь пронесут они эту судьбу, и даже смерть придет к ним невпопад. Не быть обольщенным своим знаком куда серьезнее, чем не получить награды за свои заслуги или удовлетворения своих аффектов. Утрата символического кредита всегда гораздо серьезнее реальных бедствий и нужд.

Что наталкивает на благотворительную идею открытия Института зодиакальной семиургии, в стенах кото-

133

рого, по аналогии с косметической хирургией, исправляющей телесные недостатки, могли бы заглаживаться несправедливости Знака, и чтобы блудные дети гороскопа имели бы возможность обрести наконец Знак по собственному вкусу, дабы примириться с самими собой. Предприятие, которое просто обречено на успех, по крайней мере так же, как и "мотели смерти", куда люди могут приехать, чтобы умереть так, как они сами того желают.

Смерть в Самарканде

Эллиптика знака, эклиптика смысла — приманка. Смертоносное отвлечение, в мгновение ока производимое одним только знаком.

Такова история про солдата, встретившего Смерть по пути с базара и вообразившего, будто та подала ему какой-то угрожающий знак. Он спешит во дворец и просит у царя лучшего коня, чтобы ночью бежать куда подальше, в далекий Самарканд. Затем царь призывает Смерть во дворец, чтобы упрекнуть за то, что она так перепугала одного из лучших его слуг. Но удивленная Смерть отвечает царю: "Я вовсе не хотела его напугать. Этот жест я сделала просто от неожиданности, увидев здесь солдата, ведь на завтра у нас с ним назначено свидание в Самарканде".

Конечно: чем отчаянней мы пытаемся избежать своей судьбы, тем вернее она нас настигает. Конечно: каждый ищет собственной смерти, и самые промахи наши оборачиваются прямым попаданием. Конечно: пути знаков неисповедимо бессознательны. Все это несомненно является *истиной* свидания в Самарканде, но не объяс-

135

няет *соблазна* этого рассказа, который едва ли можно считать апологией истины.

Поразительно: ведь это неизбежное свидание могло и не состояться, нет никаких оснований полагать, что солдат явился бы на него, не произойди эта случайная встреча, усугубленная случайностью *наивного жеста* Смерти, который *вопреки ее воле оборачивается манящим жестом соблазна*. Если бы смерть просто призвала солдата к порядку, то история лишилась бы своего очарования, но этим дело не ограничивается — все здесь построено на одном невольном движении. Ни сознательной стратегии, ни даже бессознательной уловки в поведении смерти не заметно, как вдруг в ней неожиданно раскрывается целая бездна соблазна: соблазн того, что *проходит стороной*, обольщение знака, который подкрадывается смертным приговором без всякого ведома партнеров (не только солдата, но и самой смерти), знака случайного, как бросок костей, но который определяется каким-то иным чудесным либо злополучным совпадением. Совпадением, которое придает траектории этого знака характер *остроты*.

Никто в этой истории не заслуживает никаких упреков — а иначе выходит, что и царь, отдавший солдату коня, тоже кругом виноват. Нет: только кажется, что персонажи обладают свободой действий (смерть вольна сделать некий жест, солдат волен бежать), но за этой кажущейся свободой выясняется, что каждый следовал какому-то правилу, которое по-настоящему не

136

было известно ни ему самому, ни другому. Правило этой игры, как и всякое фундаментальное правило, должно оставаться тайным; заключается же оно в том, что смерть — не спонтанное событие, но, *чтобы исполниться, она должна прибегнуть к соблазну*, вступить в мимолетный и загадочный сговор с жертвой, воспользоваться знаком, быть может только одним, который так и не будет разгадан.

Смерть — не объективная участь, но свидание. Она сама не может не явиться на него, так как она и *есть* это свидание, т.е. намеченное совпадение знаков и правил, составляющих игру. Сама смерть — лишь невинная участница этой игры: отсюда тайная ирония рассказа. Без этой иронии рассказ ничем не отличался бы от какой-нибудь нравоучительной апологии или же популярной иллюстрации инстинкта смерти, с нею — воспринимается как остроумная находка и разрешается в возвышенном удовольствии. Остроумие самого рассказа вторит жесту-остроте смерти, и два соблазна — смерти и истории — сливаются воедино.

Удивление смерти — вот что восхитительно, удивление столь легкомысленно составленным распорядком и тем, что все до такой степени предоставлено на волю случая: "Ведь не мог же этот солдат не знать, что назавтра ему надлежит быть в Самарканде, надо было заранее время найти...". Она жестом выражает свое удивление — и это вся ее реакция, а между тем не только жизнь солдата, но и ее собственное существование зависят от

137

факта их встречи в Самарканде. Она словно машет на все рукой, и как раз легкость подобного отношения к себе составляет ее очарование — качество, заставляющее солдата стремглав лететь на встречу с ней.

Во всем этом — никакого бессознательного, никакой метафизики, никакой психологии. Нет даже какой-либо стратегии. У смерти нет плана. Случайность она исправляет не менее случайным жестом, таков ее метод — и однако все должно исполниться. Нет ничего, что могло бы не исполниться, — и однако все сохраняет легкость случая, украдкою жеста, непредвиденной встречи, нечитаемого знака. Как покатит — в этом весь соблазн.

Вообще, солдата потому именно понесло на смерть, что он наделил смыслом жест, который такового не имел и не должен был его заботить. Он на свой счет принял то, что ему вовсе не предназначалось, — как мы принимаем, случается, на свой счет чью-то легко сорвавшуюся улыбку, адресованную кому-то другому. Вот когда соблазн достигает своего апогея: когда ничего такого нет. Обольщенный человек поневоле попадает в сеть знаков, которые — пропадают.

И сама наша история соблазнительна именно потому, что знак смерти отклоняется от своего смысла, "совращается". Лишь такие совращенные знаки сами соблазнительны.

138

Затягивают и поглощают нас только знаки пустые, бессмысленные, абсурдные, эллиптические, лишенные какой-либо референции.

Мальчик просит фею подарить ему исполнение желаний. Фея соглашается, но с одним условием — чтобы впредь он никогда не смел представлять себе мысленно рыжий цвет лисьего хвоста. "Только-то и всего!" — не раздумывая отвечает герой. И уходит с твердой надеждой на счастье. Но что происходит дальше? Он никак не может отделаться от этого лисьего хвоста, о котором, казалось ему, он уже и думать забыл. Повсюду мерещится ему этот хвост, в мыслях и снах все время мелькает перед ним это рыжее пятно. Несмотря на все усилия, избавиться от наваждения никак не удастся. Ни на миг не отпускает героя одержимость этим образом, абсурдным и ничего не значащим, но таким стойким, и чем сильнее досадует он на свое бессилие, тем крепче наваждение. И вот, он не только упускает возможность воспользоваться обещаниями феи, но и вовсе теряет вкус к жизни. Скорее всего, он умирает, так и не сумев избавиться от этого.

История абсурдная, но абсолютно правдоподобная, потому что хорошо показывает всю *силу незначащего означающего*, силу бессмыслицы в роли означающего.

Фея проявила коварство (не о доброй фее сказка). Она знала, что человеческий дух неодолимо привораживается пустым местом, оставленным смыслом. В нашей истории пустота как бы спровоцирована полнейшей

139

незначительностью рыжего цвета лисьего хвоста (поэтому герой так легко отнесся к поставленному феей условию). Бывает и так, что слова и жесты теряют свой смысл вследствие непрерывного повторения и скандирования: затаскать смысл, износить и истощить его, чтобы высвободить чистый соблазн нулевого означающего, пустого термина — такова сила ритуальной магии, сила инкантации.

Но это также может быть и непосредственная замороженность пустотой, как при физическом головокружении на краю пропасти или при метафорическом — от вида двери, за которой пустота. "За этой дверью пустота". Случись вам заметить где-нибудь табличку с подобной надписью — смогли бы вы противиться искушению открыть эту дверь?

Есть масса причин, чтобы стремиться открыть то, что ведет в никуда. Есть масса причин, чтобы ни на миг не забывать того, что абсолютно ничего не означает. Все произвольное наделено также характером тотальной необходимости. Предопределение знака-пустышки, прецессия пустоты, умопомрачение лишённого смысла обязательства, страсть необходимости.

Вот весь секрет волшебства (фея как-никак волшебница). Магия слова, его "символическая эффективность" достигает пика, когда оно произносится в пустоте, вне контекста и референции, приобретая силу *self-fulfilling prophecy* (или *self-defeating prophecy*). Рыжий цвет лисьего хвоста — из этой оперы. Нечто расплывчатое и

нереальное — навязчивое именно в силу своей полной ничтожности. Запрети фея мальчику что-либо серьезное или значительное, тот бы счастливо отделался, не поддастся бы поневоле соблазну — ведь не столько запрет соблазняет, сколько *бессмысленность запрета*. Так и среди пророчеств исполняются лишь наименее правдоподобные, вопреки всякой логике достаточно того, чтобы они избегали какого-либо смысла. Иначе они и не пророчества вовсе. Таково чародейство магической речи, таково колдовство обольщения.

Вот почему магия и обольщение ничего общего не имеют с верой или внушением веры, поскольку пользуются знаками, которые не заслуживают веры, и жестами, которые ни к чему не относятся, и вместо логики опосредования следуют логике непосредственности любого знака, чем бы и каким бы он ни был.

В доказательствах нет нужды: всякому знакомо очарование этой непосредственной реверберации знаков — никакого зазора, никакого законного срока между знаком и его разгадкой. Ни веры, ни дела, ни воли, ни знания: ему чужды эти модальности дискурса, как и четкая логика высказанного и высказывания. Это очарование всегда сродни возвещению и прорицанию, такому дискурсу, чья символическая эффективность не подразумевает никакого разгадывания или принятия на веру.

141

Непосредственная притягательность пения, голоса, аромата. Аромата пантеры (Детъен. "Смерть Диониса"). Согласно древним, пантера — единственное животное, которое испускает некий душистый запах. Им она пользуется для ловли своих жертв. Ей достаточно просто спрятаться где-нибудь (ибо вид ее устрашает), и один этот запах приворожит несчастных — невидимая ловушка, в которую те неизбежно попадают. Но эту силу соблазна возможно обратить против нее самой: охотники приманивают пантеру всевозможными запахами и ароматами.

Пантера обольщает запахом — но о чем это говорит? Что именно соблазняет в этом аромате? (И что делает само это предание столь обольстительным? Каков аромат этого предания?) Что соблазняет в пении Сирен, в красоте лица, в зиянии пропасти, в неотвратимости катастрофы, так же как в запахе пантеры или в двери, за которой одна пустота? Какая-то тайная сила притяжения, сила желания? Пустые понятия. Нет: соблазняет расторжение знаков, расторжение их смысла, чистая видимость. Обольщающие глаза не имеют смысла, до конца исчерпываясь взглядом. Накрашенное лицо исчерпывается своей видимостью, формальной строгостью бессмысленного мастерства. *Одна красота искусства — никакого означенного желания.*

Запах пантеры такое же бессмысленное послание — а за ним хищница, невидимая, как женщина под макияжем. Сирен тоже никто не видел. Колдовство творится из потаенного.

Прельщение глаз. Самое непосредственное, самое чистое. Здесь обходятся без слов — лишь взгляды скрещиваются как в поединке, мгновенно переплетаясь, незаметно для других, не прерывая их разговора: скромное обаяние оргазма в неподвижности и молчании. Спад интенсивности, как только сладкое напряжение взглядов разрешается в слова и жесты любви. Осязательность взглядов, в которых вся виртуальная субстанция тел (их желания?) уплотняется в тончайшем мгновении, как в стреле остроты — дуэль чувственная, сладострастная и в то же время бесплотная — совершенный рисунок умопомрачительности соблазна, с которым уже не сравнится никакое более плотское наслаждение. Эти глаза случайно оказались против вас, но вам кажется, они глядят на вас уже вечность. Взгляды лишены смысла, такими нельзя обменяться со значением. Никакого желания здесь нет. Потому что желание не знает очарования, а эти глаза, эти непредвиденные видимости, овеяны им, и чары эти сплетены из чистых, вневременных знаков, обоюдоострых и лишенных глубины.

Любая самопоглощающаяся система, втянутая в тотальный сговор с самой собой, так что знаки в ней утрачивают всякий смысл, как раз по этой причине воздействует с редкостной завораживающей силой. Системы завораживают своим эзотеризмом, предохраняющим их от внешних логик. Когда самодостаточное и самоунич-

тожающееся нечто всасывает в себя все реальное — это завораживает. И это может быть что угодно: философская система, механический автомат, женщина, какой-нибудь совершенный и совершенно бесполезный предмет, каменная пустыня, или стриптизерка (которая сама себя ласкает, "обвораживает", чтобы суметь обворожить других), или Бог, конечно же прекраснейшая из всех эзотерических машин.

Или отсутствие в себе самой женщины под слоем грима, отсутствие взгляда, отсутствие лица — как не пропасть в этой бездне? Красота — вещь, которая самоуничтожается в себе самой, это ее вызов, который мы можем принять лишь ценой умопомрачительной утраты — чего? — того, что ею не является. Без остатка поглощенная ухоженностью, красота заразна и заражает мгновенно, потому что в своей избыточности уходит из себя самой, а всякая вещь, исступившая из себя, утопает в тайне и поглощает все окружающее.

В сердце соблазна — притягательность пустоты, ни в коем случае не накопление знаков, не доносы желания, но эзотерическая повязанность в абсорбции знаков. В тайне завязывается соблазн, в этом медленном либо резком истощении смысла, которым во взаимном сговоре повязаны знаки, здесь, а не в каком-то физическом существе или свойстве желания, соблазн изобретается. И здесь же сплетаются чары игрового правила.

Тайна и вызов

Тайна.

Соблазнительное, посвячительное качество того, что не может быть высказано, потому что не имеет смысла, что не высказывается, хотя так и носится в воздухе. Я знаю тайну другого, но не разглашаю, он знает, что я знаю, но не раскрывает этого: нас связывает тайна тайны, отсюда интенсивность нашего взаимоотношения. Эта повязанность, этот сговор ничего общего не имеют с сокрытием информации. Помимо прочего, сами партнеры, возможно, хотели бы устранить таинственность, только им это не под силу, потому что тут и говорить-то не о чем... Все, что может быть раскрыто, с тайной разминуется. Ведь это не какое-то скрытое означаемое и не ключ к чему-то еще — тайна пропитывает и проникает все, что может быть высказано, как соблазн струится под непристойностью речи; тайна — противоположность коммуникации, но при этом может разделяться. Одной ценой — никогда не разглашаться — тайна удерживает свою власть; так и соблазн, чтобы действовать, всегда должен оставаться неназванным и ненамеренным.

Скрытое или вытесненное имеет своим призванием в конечном счете объявляться — тайне такое призвание абсолютно чуждо. Это посвячительная, импловивная форма: войти — пожалуйста, а выйти — навряд ли. Никакого откровения, никакой коммуникации, никакой даже "секреции" секрета (Земплены, *Nouvelle*
145

Revue de Psychanalyse, № 14): в этой сдержанности тайна черпает свою мощь, силу аллюзивного, ритуального обмена.

Так, в "Дневнике обольстителя" форма обольщения — разрешение загадки. Молодая девушка — загадка, для ее обольщения герой сам должен сделаться загадкой для нее: все решается в *загадочном поединке*, и обольщение — такое решение, которое *не срывает с происходящего покрывала тайны*. Без тайны откровением всего явилась бы сексуальность. Последним словом в этой истории, если б такое нашлось, стал бы секс — но этого в ней как раз нет. Там, куда должен нагрянуть смысл, куда должен нагрянуть секс, где это назначено словами и надумано другими, — там ничто. И это ничто тайны, это незначающее соблазна пропитывает все, циркулирует, бежит под спудом слов, под спудом смысла, и быстрее смысла, касаясь вас в первую очередь, прежде чем доходят до вас фразы, откуда они падают без сознания. Соблазн под спудом дискурса, невидимый глазу, от одного знака к другому, тайная циркуляция.

Диаметральная противоположность психологическому отношению: быть посвященным в тайну другого не означает разделять его фантазии или желания, не означает разделять то несказанное, которое могло бы этой тайной оказаться: когда говорит "оно", в этом как раз нет ничего соблазнительного. Все, что сродни выразительной энергии, вытеснению, бессознательному, тому, что рвется говорить и где должно объявиться я, —

146

все это относится к *экзотерическому* строю и вступает в противоречие с *эзотерической* формой тайны и оболъщения.

Впрочем, бессознательное, "авантюру" бессознательного можно представить и как последнюю размашистую попытку разжиться в обществе без тайн каким-никаким секретом. Бессознательное в таком случае — наша тайна, наше таинство в обществе откровенности и прозрачности. Но по правде это не так, потому что тайна эта — чисто психологическая, и она не существует сама по себе, поскольку бессознательное появляется на свет одновременно с психоанализом, т.е. набором процедур для своей резорбции и техникой отпирательства от глубинных форм тайны.

Но не грозит ли истолкованиям мщение чего-то неуловимого, что украдкой препятствует их развитию? Чего-то такого, что решительно не хочет быть высказанным и, являясь загадкой, загадочно владеет своим собственным решением, а потому желает лишь оставаться втайне, и в *радости* тайны.

Вопреки всем усилиям обнажить, разоблачить, вынудить означать, язык возвращается к своему тайному соблазну, *мы* всегда возвращаемся к своим собственным неразрешаемым удовольствиям.

Не существует срока оболъщения, нет и срока для оболъщения, но у него есть свой ритм, без которого оно

147

не имело бы места. Оно не разменивается, как посредственная прикладная стратегия, ковыляющая от одной промежуточной фазы к другой. Оно вершится в одно мгновение, одним движением, и оно всегда для себя не средство, но цель.

Цикл обольщения не знает остановок. Можно соблазнять одну, чтобы соблазнить другую. А можно соблазнять другую, чтобы самому себе понравиться. Мелькающая приманка, что уводит от одного к другому, неуловима. Что обольстителем — обольщать или быть обольщаемым? Но быть обольщенным, к тому же, лучший способ обольстить. Все это одна нескончаемая строфа. И как нет в обольщении активной и пассивной сторон, так же нет субъекта и объекта, внутреннего и внешнего: игра ведется сразу на обоих скатах, и нет границы, которая бы их разделяла. Никто не сможет, если сам не поддастся соблазну, соблазнить других.

Потому что обольщение никогда не останавливается на истине знаков, но только на приманке и тайне, оно вводит способ циркуляции, который сам отличается секретностью и ритуальностью, своего рода непосредственное посвящение, которое подчиняется лишь собственному правилу игры.

Быть обольщенным — значит быть соvrащенным от своей истины. Обольщать — значит соvrащать другого от его истины. Эта истина станет отныне ускользающей от него тайной (Винсент Декомб).

Обольщение непосредственно, мгновенно обратимо,

и эта обратимость составляется вызовом, вплетенным в его игру, и тайной, в которой оно утопает.

Сила привлекающая и отвлекающая, сила поглощающая и завораживающая, сила низвержения не только секса, но и вообще всего реального, сила вызова — не экономия пола и слова, но всегда только эскалация прелести и насилия, мгновенная вспышка страсти, в которую при случае и секс может нагряться, но которая с таким же успехом исчерпывается лишь самой собой, в этом процессе вызова и смерти, в радикальной неопределенности, отличающей ее от влечения, которое неопределенно в отношении своего объекта, но определено как сила и как начало, тогда как страсть оболыщения не имеет ни субстанции, ни начала: свою интенсивность она берет не от какого-то заряда либидо, не от какой-то энергии желания, но от чистой формы игры и чисто формальной эскалации взлетающих ставок.

Таков и вызов. Он такая же дуально-дуэльная форма, которая исчерпывается в одно мгновение и чья интенсивность коренится в этой немедленной, непосредственной реверсии. Он тоже околдовывает, как какие-нибудь лишенные смысла слова, на которые мы *по этой абсурдной причине* не можем не ответить. Что заставляет отвечать на вызов? Вопрос таинственный, под стать другому: что соблазняет?

Есть ли что соблазнительней вызова? Вызов или

149

обольщение — это всегда стремление свести другого с ума, но только взаимным умопомрачением, безумствуя объединяющим их умопомрачительным отсутствием, и взаимным поглощением. Вот неизбежность вызова, и вот почему невозможно не ответить на него: он вводит своего рода безумное отношение, резко отличающееся от отношений коммуникации или обмена: дуальное отношение, скользящее по знакам хотя и бессмысленным, но связанным каким-то фундаментальным правилом и тайным соблюдением его. Вызов кладет конец всякому договору и контракту, всякому обмену под управлением закона (закона природы или закона стоимости), все это он заменяет неким *пактом*, в высшей степени условным и ритуализованным, неотступным обязательством отвечать и повышать ставки, управляемым фундаментальным правилом игры и скандированным согласно своему собственному ритму. В противоположность закону, который всегда куда-нибудь вписан, в скрижали, в сердце или в небо над головой, этому фундаментальному правилу не обязательно быть изложенным, *оно вообще не должно излагаться*. Оно непосредственно, имманентно, неизбежно (закон — трансцендентен и эксплицитен).

Нет и не может быть контракта обольщения, контракта вызова. Для появления вызова или обольщения всякое договорное отношение должно исчезнуть, уступив место дуальному отношению, которое составляет из тайных знаков, изъятых из обмена и всю свою интен-

150

сивность черпающих в своей формальной разделенности, в своей непосредственной реверберации. Таковы же чары обольщения, которое кладет конец всякой экономии желания, всякому сексуальному либо психологическому контракту и подставляет взамен умопомрачение ответа — никаких вкладов: только ставки — никакого контракта: только пакт — ничего индивидуального: только дуальное — никакой психологичности: только ритуальность — никакой естественности: только искусственность. Стратегия личности: судьба.

Вызов и обольщение бесконечно близки. Но не найдется ли все же между ними некоторого различия? Ведь если вызовом предполагается вытащить другого на территорию, где сами вы сильны и где другой тоже обретет силу в результате бесконечного повышения ставок, то стратегией (?) обольщения, наоборот, предполагается выманить другого на территорию, где вы сами слабы и где другого тоже вскоре поразит эта же слабость. Слабость с расчетом, слабость вне расчета: вызов другому — приколоться и проколоться. Слабость или изъян: запах пантеры тоже, наверное, изъян, как бы яма, куда влекутся в умопомрачении животные. Правда ведь, эта мифическая пантера со своим запахом — эпицентр смерти, вот из какого изъяна источаются самые тонкие флюиды.

Соблазнять — значит делать хрупким. Соблазнять — значит давать слабину. Мы никогда не соблазняем сво-

151

ей силой или знаками силы, но только своей слабостью. Мы ставим на эту слабость в игре обольщения, которое только благодаря этому обретает свою мощь.

Мы обольщаем своей смертью, своей уязвимостью, заполняющей нас пустотой. Секрет в том, чтобы научиться пользоваться этой смертью вместо взгляда, вместо жеста, вместо знания, вместо смысла.

Психоанализ убеждает нас принять свою пассивность, принять свою хрупкость, но этому придается форма то ли смирения- то ли покорности, с почти что религиозным еще оттенком, и все ради хорошо темперированного душевного равновесия. Обольщение же торжествующе использует эту хрупкость, превращает ее в игру по своим собственным правилам.

Все обольщение, и ничего, кроме обольщения. Нас хотели уверить, что все есть производство. Лейтмотив преобразования мира: ход вещей определяется игрой производительных сил. Обольщение — лишь аморальный, фривольный, поверхностный, излишний процесс, принадлежащий к строю знаков и видимостей, посвященный удовольствиям и пользованию бесполезными телами. А что если все наперекор видимостям — на самом же деле согласно тайному правилу видимостей — что если решительно все работает на соблазн?

момент соблазна
напряжение соблазна

алеаторика соблазна
случайность соблазна
бред соблазна

пауза соблазна Производство
только и делает что аккумулирует, не
отклоняясь от своей цели. Все приманки оно
подменяет одной-единственной: своей
собственной, превращенной в принцип
реальности. Производство, подобно революции,
стремится положить конец эпидемии
видимостей. Но обольщение неизбежно. Никто
живой от него не ускользает — и даже мертвые,
поскольку остаются их имена и память о них.
По-настоящему мертвы они тогда только, когда
до них не доносится больше из этого мира,
чтобы соблазнить, никакое эхо, когда никакой
ритуал уже не бросает им вызов доказать свое
существование.

Мы-то считаем мертвым того, кто уже совсем
не может производить. На самом же деле мертв
тот, кто уже совсем не хочет ни обольщать, ни
быть обольщаемым.

Но обольщение завладевает им вопреки
всему, как завладевает оно всем производством,
кончая полным его уничтожением.

Потому что эта пустота, это отсутствие,
оставляемое неважно где огненным выхлопом
неважно какого знака, эта бессмыслица,
искрящаяся внезапным очарованием соблазна,
— эта же пустота, только уже расколдованная,
разочарованная, ожидает и производство в кон-
це всех его трудов. Все возвращается в пустоту,
наши слова и жесты не исключение, но
некоторые, прежде

153

чем исчезнуть, улучают миг и в предвосхищении конца вспыхивают ярчайшим соблазном, какой другие так никогда и не узнают. Секрет обольщения — в этом призывании и отзывании другого жестами, чья медлительность, напряженная подвешенность поэтичны, как падение или взрыв в замедленной съемке, потому что тогда нечто, прежде чем свершиться, улучшает миг, чтобы дать вам почувствовать свое отсутствие, что и составляет совершенство "желания", если таковое вообще достижимо.

Личина обольстительницы

Призматический эффект обольщения. Другое пространство преломления. Соблазн не в простой видимости, как и не в чистом отсутствии, но в затмении присутствия. Его единственная стратегия — разом наличествовать и отсутствовать, как бы мерцая или мигая, являя собой некое гипнотическое приспособление, которое концентрирует и кристаллизует внимание вне какого бы то ни было смыслового эффекта. Отсутствие здесь соблазняет присутствие.

Суверенная мощь обольстительницы: она "затмевает" какой угодно контекст, какую угодно волю. Она не может допустить установления других отношений, даже са-

154

мых близких, аффективных, любовных, сексуальных — этих в особенности, — не ломая их тут же, чтобы обратить в прежнюю стороннюю завороченность. Не покладая рук старается она избежать любых отношений, при которых в тот или иной момент наверняка встал бы вопрос об *истине*. Она разрывает их с легкостью. Она не отвергает их, не разрушает: она сообщает им мерцающую прерывистость. В этом весь ее секрет: в мерцании присутствия. Ее никогда нет там, где ее думают застать, никогда там, где ее желают. Она сама "эстетика исчезновения", как сказал бы Вирилио.

Даже желание заставляет она выполнять функции приманки. Для нее не существует никакой истины желания или тела, как и любой другой вещи. Даже любовь и половой акт могут быть перекроены в элементы обольщения, всего-то и требуется, что придать им эклиптическую форму появления/исчезновения, т.е. прерывистой линии, внезапно обрывающей всякий аффект, всякое удовольствие, всякое отношение, чтобы вновь утвердить верховное требование соблазна, трансцендентную эстетику соблазна под имманентной этикой удовольствия и желания. Даже любовь и плотское общение оказываются обольстительным нарядом, самым тонким и изысканным из всех украшений, что изобретает женщина для обольщения мужчины. Но ту же самую роль могут сыграть стыдливость или отказ. Все тогда оказывается таким украшением, здесь раскрывается гений видимостей.

155

"Любить тебя, ласкать тебя, угождать тебе — не этого я хочу, а *соблазнить* тебя, но не затем, чтоб ты любил меня или доставлял удовольствие, — а только чтобы ты был *соблазнен*". Есть своего рода духовная жестокость в игре обольстительницы, в том числе и по отношению к ней самой. Перед лицом такой ритуальной требовательности, всякая аффективная психология просто слабость. Ни малейшей лазейки для бегства не оставляет этот вызов, в котором без остатка улетучиваются любовь и желание. И ни малейшей передышки: эта замороженность не может перестать ни на миг, иначе рискует пойти прахом и обратиться в ничто. Настоящая обольстительница может существовать лишь в состоянии непрерывного обольщения: вне его она уже не женщина даже, она перестает быть объектом или субъектом желания, лишается лица и привлекательности — все потому, что там ее единственная страсть. Обольщение суверенно, это единственный ритуал, затмевающий все прочие, но такая суверенность жестока и жестоко оплачивается.

В стихии обольщения у женщины нет ни собственного тела, тела в собственном смысле, ни собственного желания. Что такое тело, что такое желание? Она в них не верит и играет на этом. Не имея собственного тела, она делает себя чистой видимостью, искусственной конструкцией, ловушкой, в которую попадаете желание другого. Вот в чем все обольщение: другому она позволяет думать, что он является и остается субъектом желания, сама же не попадаете на эту удочку. А может

156

быть, и в другом: она делает себя "соблазнительным" сексуальным объектом, если именно таково "желание" мужчины: соблазн просвечивает и в этой "соблазнительности" — чары соблазна сквозят в притягательности секса. Но именно сквозят — и проходят насквозь. "У меня только привлекательность, у вас же очарование" — "У жизни есть своя привлекательность, у смерти — свое очарование".

Для соблазна желание — не цель, но лишь предположительная ставка. Точнее, ставка делается на возбуждение и последующее разочарование желания, вся истина которого в этой мерцающей разочарованности, — и само желание обманывается насчет своей силы, которая ему дается лишь затем, чтобы снова быть отобранной. Оно даже никогда не узнает, что с ним творится. Ведь та или тот, кто соблазняет, может действительно любить и желать, однако на более глубоком уровне — или более поверхностном, если угодно, в поверхностной бездне видимостей, — играется другая игра, о которой никто из двоих и не подозревает и где протагонисты желания выступают простыми статистами.

Для соблазна желание — миф. Если желание есть воля к власти и обладанию, то соблазн выставляет против нее равносильную, но симулированную волю к власти: хитро-роплетением видимостей возбуждает он эту гипотетическую силу желания и тем же оружием изгоняет. Как киркегоровский обольститель считает наивную прелесть юной девушки, ее спонтанную эротическую силу ми-

157

фичной, не имеющей иной реальности, кроме той, где она разжигается, чтобы затем быть уничтоженной (возможно, он ее любит и желает, но на ином уровне, в сверхчувственном пространстве соблазна девушка не более чем мифическая фигура жертвы), так и сила мужского желания, с точки зрения обольстительницы, есть только миф, из которого она плетет свое кружево, чтобы вызвать и затем отменить это желание. И хитрости обольстителя, которыми тот искушает девушку ради ее мифической прелести, в принципе ничем не отличаются от ухищрений обольстительницы, превращающей тело свое в искусственную конструкцию ради мифического желания мужчины, — в том и другом случае имеется в виду в конечном счете обратить в ничто эту мифическую силу, будь то прелесть или желание. Обольщение всегда имеет в виду обратимость и экзорцизм какой-то силы. И обольщение — не только искусственность, это еще и жертвенность. Смерть играет в игре соблазна, в которой всегда речь идет о том, чтобы пленить и предать заклятию желание другого.

Сам же соблазн в отличие от желания бессмертен. Обольстительница, подобно истеричке, *прикидывается* бессмертной, вечно юной, зная не знающей никакого завтра, что вообще-то не может не изумлять, учитывая атмосферу отчаяния и разочарования, которой она окружена, учитывая жестокость ее игры. Но выживает она здесь как раз потому, что остается вне психологии, вне смысла, вне желания. Людей больше всего уби-

158

ваит и грузит смысл, который они придают своим поступкам — обольстительница же не вкладывает никакого смысла в то, что делает, и не взваливает на себя бремени желания. Даже если она пытается объяснить свои действия теми или иными причинами и мотивами, с сознанием вины либо цинично, — все это лишь очередная ловушка — последняя же ловушка заключается в ее требовании разъяснений относительно себя самой:

"Скажи мне, кто я такая", когда она никто и ничто, безразлична к тому, кто и что она есть, когда она существует имманентно, без памяти и без истории, а сила ее как раз в том, что она просто есть, ироничная и неуловимая, слепая к собственному существу, но в совершенстве знающая все механизмы разума и истины, в которых другие нуждаются, чтобы защититься от соблазна, и под прикрытием которых, если уметь с ними обращаться, они беспрестанно будут давать себя соблазнять.

"Я бессмертна", иными словами неуемна. То же самое подразумевает фундаментальное правило: игра никогда не должна прерываться. Ведь как ни один игрок не в состоянии перерасти саму игру, так и ни одна соблазнительница не может подняться над соблазном. Во всех своих превратностях любовь и желание никогда не должны идти ему наперекор. Нужно любить, чтобы соблазнять, а не наоборот. Соблазн наряжен, им сплетается и расплетается кружево видимостей, как Пенелопа ткала и распускала свое полотно, и даже узлы желания вяжутся и разрываются тем же соблазном. Потому что

159

видимость превыше всего, и верховную власть дает власть над видимостями.

Ни одна женщина никогда не утрачивала этой фундаментальной формы власти, никогда не лишалась этой сопряженной с соблазном и его правилами силы. Своего тела — да, своего удовольствия, желания, прав — всего этого женщины действительно были лишены. Но они всегда оставались повелительницами затмения, соблазнительной игры исчезновений и проблесков, и тем самым всегда имели возможность затмить власть своих "повелителей".

Но действительно ли существует отдельно женская фигура обольщения и отдельно — мужская? Или, может быть, есть только одна форма в двух вариантах, конкретизируемых соответствующим полом?

Обольщение колеблется между двумя полюсами — стратегии и животности, от самого тонкого расчета до самого откровенного физического предложения, — которые, как нам кажется, представлены двумя отдельными фигурами — обольстителя и обольстительницы. Но не скрывается ли за этим делением единая конфигурация неделимого и безраздельного соблазна?

Животный соблазн. Именно у животных соблазн принимает наиболее

чистую форму, поскольку характерную для обольщения парадность мы наблюдаем у них как бы врезанной в инстинкты, как бы непосредственно сросшейся с поведенческими рефлексами и естественными нарядами и украшениями. Но от этого животный соблазн не перестает быть насквозь ритуальным по своей сути. Животное вообще можно охарактеризовать как наименее естественное существо на свете, поскольку именно в нем искусственность, эффект обряженности и нарядности, отличается наибольшей безыскусностью. В сердце этого парадокса, где в понятии *наряда* упраздняется различие природы и культуры, и запускается в игру аналогия между животностью и женственностью.

Если животность соблазнительна, то не потому ли, что являет собой живую стратегию, живую стратегию осмеяния нашей претенциозной человечности? Если соблазнительна женственность, то не потому ли, что и она своей игрой поднимает на смех всякую претензию на глубокомыслие? Соблазнительная сила легкомысленного сходится с соблазнительной силой звериного.

В животном соблазняет нас вовсе не его "природная" дикость. Да и вообще следует задаться вопросом: правда ли животное отличается именно дикостью, высокой степенью бесконтрольности, непредсказуемости, преобладанием безотчетных влечений или, может быть, наоборот — высокой степенью ритуализации поведения? Тот же вопрос встает и в отношении примитивных обществ, которые всегда считались близкими к животному цар-

161

ству — которые действительно к нему близки в том смысле, что животным и примитивным народам равно свойственно непризнание закона, тесно связанное с предельно строгим соблюдением установленных правил и форм поведения по отношению к другим животным, к людям, к занимаемой территории.

Прелесть животных вся без остатка, вплоть до узорчатой орнаментации их тел и их танцев, — плод целого хитросплетения ритуалов, правил, аналогий: это не случайная прихоть природы, но полная ее противоположность. Все связанные с животными атрибуты престижа имеют ритуальные черты. Их "природные" наряды сходятся с искусственными нарядами людей, которые и без того всегда склонны были присваивать их в своей обрядности. Маски потому в первую очередь и преимущественно изображают именно животных, что само животное изначально есть ритуальная маска, изначально воплощает собой игру знаков и стратегию наряда, как это имеет место и в человеческих обрядах. Сама морфология животных, их масть и оперение, их жесты и танцы — все это служит прообразом для механизма ритуальной эффективности, т.е. системы, которая никогда не бывает функциональной (репродукция, сексуальность, экология, миметизм: эта пересмотренная и исправленная функционализмом этология отличается лишь своей исключительной убогостью), но изначально имеет черты церемониала, разыгрывающего престиж и власть над знаками, образует цикл обольщения, в том смысле что

162

знаки неодолимо тяготеют друг к другу, репродуцируются как бы магнитной рекуррентностью, влекут за собой утрату смысла и умопомрачение и скрепляют между участниками нерушимый *пакт*.

Ритуальность вообще есть высшая форма в сравнении с социальностью. Последняя — это лишь недавно сложившаяся и малособлазнительная форма организации и обмена, которую люди изобрели в своей собственной среде. Ритуальность — гораздо более емкая система, охватывающая живых и мертвых, и животных, не исключая из себя даже "природу", где разного рода периодические процессы, рекуррентноеTM и катастрофы как бы спонтанно выполняют роль ритуальных знаков. Социальность в сравнении с этим выглядит довольно-таки убого, у нее только и получается, что сплотить — под знаком Закона — всего один вид (да и то едва ли). Ритуальности же удается — не по закону, но по правилу, и своими бесконечными игровыми аналогиями — поддерживать определенную форму циклической организации и универсального обмена, которая явно недостижима для Закона и социального вообще.

Животные потому нам нравятся и кажутся соблазнительными, что в них мы находим отзвук этой ритуальной организации. Не ностальгию по дикости они в нас пробуждают, но что-то вроде кошачьей и театральной ностальгии по наряду, по этому кружеву стратегии и соблазна ритуальных форм, которые превосходят всякую социальность и которые все еще нас чаруют.

163

Именно в этом смысле можно говорить об "анимализации" соблазна и называть женский соблазн животным без риска обратить его тем самым в простой сколок инстинктивной природы. Ведь этим подразумевается, что женский соблазн глубинно соотносится с ритуалом тела, чье требование, как и всякого ритуала, не в том, чтобы обосновать некую природу и найти для нее закон, но чтобы справиться видимости и организовать их в цикл. Так что здесь не подразумевается этическая неполноценность женского соблазна, а только его эстетическое превосходство. Он является стратегией наряда.

Вообще в человеке никогда не прельщает природная красота, но только ритуальная. Потому что обрядная красота эзотерична и посвященна, в то время как природная лишь выразительна. Потому что обольщение — в тайне, получающей власть от разгруженных знаков искусственности, но никак не в естественной экономии смысла, красоты или желания.

Отрицание анатомии и тела как судьбы не вчерашним днем датируется. Очевидно, во всех обществах, которые предшествуют нашему, оно принимало куда более резкие формы. Обратить тело в ритуал, церемонию, вырядить, прикрыть маской, изувечить, разрисовать, предать пытке — чтобы соблазнить: соблазнить богов, соблазнить духов, соблазнить мертвых. Тело — первая мощная опора соблазна в этом грандиозном волокитстве. Это только мы воспринимаем подобные вещи в каком-то эстетическом или декоративном плане (и сра-

164

зу же в корне отвергаем: моральное отвержение всякой магии тела рождается одновременно с самой идеей декорации. Для дикарей, как и для животных, это не декорация, а наряд. И это универсальное правило. Кто не раскрашен, тот просто дурак, как говорят кадувео.)

Конкретные формы телесной магии могут нам показаться отталкивающими: покрытие тела грязью — простейшая форма; деформация черепа и подпиливание зубов в древней Мексике, деформация женских ступней в Китае, растягивание шеи, нанесение надрезов на лицо, затем не столь экзотичные, вроде татуировки, нарядов в смысле одежды, ритуальной раскраски, разного рода бижутерии, масок и так далее, вплоть до браслетов из консервных банок у современных полинезийцев.

Вынудить тело *означать*, но такими знаками, которые, собственно говоря, не имеют смысла. Всякое сходство вытравлено. Представление начисто отсутствует. Покрывать тело видимостями, приманками, ловушками, пародийной животностью, жертвенными симуляциями, но не затем, чтобы скрыть — и не затем, чтобы открыть что бы то ни было (желание, влечение), даже не ради простой забавы или удовольствия (спонтанная экспрессивность детей и дикарей), — а во исполнение замысла, который Арто назвал бы метафизическим: бросить жертвенный вызов миру, принуждая его отстаивать свое существование. Ибо ничто не существует просто так, от природы, *все вещи существуют только от вызова, который им бросается и на который они вынуждаются отве-*

165

тить. Вызовом порождают и возрождают силы мира, в том числе богов, вызовом их заклинают, соблазняют, пленяют, вызовом оживляют игру и правило игры. Для этого требуется искусственное повышение ставок, так сказать систематическая симуляция, которая бы сбрасывала со счетов как предустановленное состояние мира, так и телесную физиологию и анатомию. Радикальная метафизика симуляции. Даже "естественная" гармония перестает браться в расчет — лицевые раскраски кадувео не соотносятся с чертами лица: рисунок сплошь и рядом навязывает свои собственные очертания и искусственные симметрии. (У нас же макияж ориентируется на тело как систему отсчета, чтобы лишь подчеркивать его линии и отверстия: надо ли его по этой причине ставить ближе к природе и желанию? Очень даже сомнительно.)

Кое-что от этой радикальной метафизики видимостей, от этого вызова симуляцией продолжает жить в косметическом искусстве всех времен, как и в современных роскошествах макияжа и моды. Отцы Церкви в свое время не преминули это заметить и сурово осудили как идущее от дьявола: "Заниматься своим телом, ухаживать за ним и малевать — значит соперничать с Создателем и оспаривать Его творение". Впредь эта отповедь звучала безумолчно, но интереснее всего, что она получила отражение и в другой религии — той, что зовет поклоняться свободе субъекта и сущности его желания. Так, наша мораль безусловно осуждает превращение женщины в сексуальный объект путем искус-

ственных манипуляций с лицом и телом. Это уже не церковная декреталия — это декрет современной идеологии, которая обличает продажность женщины в кабале потребительской женственности, телом своим обслуживающей воспроизводство капитала. "Женственность есть отчужденное бытие женщины". Эта Женственность предьявляется в виде какой-то абстрактной всеобщности с начисто выхолощенной собственно женской реальностью, всеобщности, которая целиком относится к строю дискурса и рекламной риторике. "Растерянная женщина косметических масок и неизменно подкрашенных губ перестает быть производительницей своей реальной жизни" и т.д.

В пику всем этим благочестивым разглагольствованиям не мешает лишний раз сотворить хвалу сексуальному объекту, поскольку ему удастся в изошренности видимостей хотя бы отчасти подхватить вызов бесхитроственному строю мира и секса, и поскольку ему — и только ему — удастся вырваться из этого строя производства, которым он, по общему мнению, закабален, и вернуться в строй соблазна. Его ирреальность, его ирреальный вызов проституируемыми знаками — вот что позволяет сексуальному объекту пробиться по ту сторону секса и достичь соблазна. Он снова вписывается в церемониал. Женщина во все времена была идолом-личиною этого ритуала, и есть что-то отчаянно несуразное в стремлении десакрализировать ее как *объект* поклонения с целью сделать *субъектом* производства, в стремлении извлечь

167

ее из лукавства искусственности, дабы представить во всей натуральной красе ее собственного желания.

"Женщина реализует свое право и даже выполняет своего рода долг, стараясь выглядеть волшебной и сверхъестественной; она должна изумлять, должна очаровывать; будучи кумиром, она должна позлащать себя, дабы ей поклонялись. Поэтому она должна во всех искусствах черпать средства, которые позволят ей возвыситься над природой, дабы сильнее покорить сердца и поразить умы. Не суть важно, что хитрости и уловки эти всем известны, если их успех неоспорим, а воздействие неотразимо. Учитывая эти соображения, художник-философ легко найдет законное обоснование приемам, использовавшимся во все времена женщинами, чтобы упрочить и обожествить, так сказать, свою хрупкую красоту; Их перечисление оказалось бы бесконечным; но если мы ограничимся лишь тем, что в наше время в просторечьи именуется *макияжем*, то каждый легко сможет увидеть, что использование рисовой пудры, столь глупо предаваемое анафеме простодушными философами, имеет целью и результатом обесцвечивание пятен, которыми природа обидно усеяла кожу, и создание абстрактного единства крупиц и цвета кожи, каковое единство, подобно тому, что порождается благодаря использованию трико, немедленно сближает человеческое существо со статуей, т.е. с неким божественным и высшим существом. Что до искусственных теней, обводящих глаза, и румян, выделяющих верхнюю половину щек, то, хотя их использова-

168

ние обусловлено все тем же принципом, потребностью превзойти природу, результат удовлетворяет прямо противоположную потребность. Румяна и тени передают жизнь, жизнь сверхъестественную и избыточную; черное обрамление наделяет взор большей глубиной и загадочностью, с большей определенностью придает глазам вид окон, открытых в бесконечность; воспламеняющие скулы румяна еще ярче делают блеск очей и запечатлевают на прекрасном женском лице таинственную страстность жрицы".

(Бодлер. "Похвала макияжу".)

Если желание существует (гипотеза современности), тогда ничто не должно нарушать его естественной гармонии, а макияж просто лицемерие. Но если желание — миф (гипотеза соблазна), тогда ничто не воспрещает разыгрывать желание всеми доступными знаками, не процеживая их сквозь сито естественности. Тогда знаки, то показываясь, то исчезая из виду, уже одним этим являют свое могущество: так они способны стереть лицо земли. Макияж — еще один способ свести лицо на нет, выравнять *эти* глаза другими, более красивыми, стереть *эти* губы более яркими, более красными. "Абстрактное единство, сближающее человеческое существо с божественным", "сверхъестественная и избыточная жизнь", о которых говорит Бодлер, — все это эффект легкого налета искусственности, который гасит всякое выражение. Искусственность не отчуждает субъекта в его бытии — она его таинственным образом меняет. Ее

169

действие видно по тому радикальному преображению, какое женщины узнают на себе перед своим зеркалом: чтобы накраситься, они должны обратиться в ничто и начать с белого листа, а накрасившись, они облачаются чистой видимостью существа с обнуленным смыслом. Как можно настолько заблуждаться, чтобы смешивать это "избыточное" действие с каким-то заурядным камуфлированием истины? Только лживое может отчуждать истинное, но макияж не лжет, он лживее лживого (как игра травести), и потому ему выпадает своего рода высшая невинность и такая же прозрачность — абсорбция собственной наружностью, поглощение собственной поверхностью, резорбция всякого выражения без следов крови, без следов смысла — жестокость, конечно, и вызов — но кто же тут отчуждается? Только те, кто не может вынести этого жестокого совершенства, кто не может защититься от него иначе, как моральным отвращением. Но все сбиты с толку. Как еще ответить чистой видимости, подвижной либо иератически застывшей, если не признанием ее суверенности? Смыть грим, сорвать этот покров, потребовать от видимостей немедленно исчезнуть? Чушь какая: утопия иконоборцев. За образами нет никакого Бога, и даже скрываемое ими небытие должно оставаться в тайне. Что наделяет все величайшие блоки воображения соблазном, гипнотизмом, "эстетическим" ореолом, так это полное стирание всякой инстанции, пускай даже лица, стирание всякой субстанции, пусть даже желания — совершенство искусственного знака.

170

Несомненно, самый замечательный пример тому мы находим в кумирах и звездах кино — это единственная великая коллективная констелляция соблазна, которую оказалась способна произвести современность. Кумиры всегда женственны, неважно, женщина это или мужчина, звезда всегда женского рода, как Бог — мужского. Женщины здесь высоко вознеслись. Из вождельных существ из плоти и крови они сделались транссексуальными, сверхчувственными созданиями, в которых конкретно сумел воплотиться этот разгул суеты, то ли суровый ритуал, что превращает их в поколение священных монстров, наделенных невероятной силой абсорбции, которая не уступает, а то и соперничает с силами производства в реальном мире. Вот наш единственный миф в скудную эпоху, не способную породить ничего сопоставимого с великими мифами и фигурами соблазна древней мифологии и искусства.

Только мифом своим сильно кино. Его нарративы, его реализм или образность, его психология, его смысловые эффекты — все это вторично. Силен только миф, и соблазн живет в сердце кинематографического мифа — соблазн яркой пленительной фигуры, женской или мужской (женской особенно), неразрывно связанный с пленяющей и захватывающей силой самого образа на киноплёнке. Чудесное совпадение.

Звезда ничего общего не имеет с каким-то идеальным или возвышенным существом: она целиком искусственна. Ей абсолютно ничего не стоит быть актрисой в

171

психологическом смысле слова: ее лицо не служит зеркалом души и чувств — таковых у нее просто нет. Наоборот, она тут для того только, чтобы заиграть и задавить любые чувства, любое выражение одним ритуальным гипнотизмом пустоты, что сквозит в ее экстатическом взоре и ничего не выражающей улыбке. Это и позволяет ей подняться до мифа и оказаться в центре коллективного обряда жертвенного поклонения.

Сотворение кинематографических кумиров, этих божеств массы, было и остается нашим звездным часом, величайшим событием современности — и сегодня оно по-прежнему служит противовесом для всей совокупности политических и социальных событий. Не годится списывать его в разряд воображения мистифицированных масс. Это событие соблазна, которое уравнивает всякое событие производства.

Конечно, в эпоху масс соблазн уже далеко не такой, как в "Принцессе Клевской", "Опасных связях" или "Дневнике обольстителя", и даже не такой, каким дышат фигуры античной мифологии, которая, несомненно, больше всех других известных нарративов насыщена соблазном — но соблазном *горячим*, тогда как соблазн наших современных кумиров *холоден*, возникая на пересечении холодной среды масс и столь же холодной среды образа на пленке.

Такой соблазн отличает призрачная белизна звезд, что так впопад дали свое имя кинокумирам. Есть только два значительных события, которые раз за разом светом сво-

172

им "обольщают" массы в современную эпоху: белые вспышки кинозвезд и черные сполохи терроризма. У этих двух явлений много общего. Подобно звездам, мерцающим на небе, и кинозвезды, и теракты "мигают": не озаряют, не испускают непрерывный белый поток света, но мерцают холодным пульсирующим свечением, они распалют и в тот же миг разочаровывают, они завораживают внезапностью своего появления и неминуемостью угасания. Они сами себя затмевают, захваченные игрой, в которой ставки взвинчиваются бесконечно.

Великие обольстительницы и великие звезды никогда не блещут талантом или умом, они блистают своим отсутствием. Они блистательны своим ничтожеством и своим холодом, холодом макияжа и ритуальной иератики (ритуал вообще *cool*, по Маклюэну). Они — воплощенная метафора необъятного ледникового процесса, который завладел нашей вселенной смысла, пойманной в мигающие сети знаков и картинок, — но одновременно они в какой-то момент истории и при стечении обстоятельств, выпадающем только раз, преображают эту вселенную в эффект соблазна.

Искрящийся блеск кино всегда был только этим чистым соблазном, этим чистым трепетанием бессмыслицы — горячим трепетом, который тем прекрасней, что рождается холодом.

Искусственность и бессмысленность: таков эзотерический лик звезды, ее посвятельная маска. Соблазн лица, где вытравлено всякое выражение, за вычетом ри-

туальной улыбки и столь же условной красоты. Отсутствующее белое лицо — белизна знаков, всецело отдавшихся своей ритуализованной видимости и не подчиненных более никакому глубинному закону обозначения. Пресловутая стерильность звезд: они не воспроизводят себя, но всякий раз умеют фениксом воспрянуть из собственного пепла, как обольстительная женщина — из своего зеркала.

Эти великие обольстительные личины — наши маски, наши изваяния, не хуже тех, что на острове Пасхи. Впрочем, не будем обманываться: из истории мы знаем горячие толпы, пылающие обожанием, религиозной страстью, жертвенным порывом или бунтом; сегодня же есть только холодные массы, пропитанные соблазном и замороженностью. Их личина создается кинематографом, и жертвы ее творятся по иному обряду.

Смерть звезд лишь неизбежное следствие их ритуального обожания. Они должны умирать, они всегда должны быть уже мертвы. Это необходимо, чтобы быть совершенным и поверхностным — того же требует макияж. Впрочем, на какие-то мрачные размышления нас это не должно наводить. Ведь здесь мысль о единственно возможном бессмертии, а именно бессмертии искусственного творения, только оттеняет собой другую идею, которую и воплощают кинозвезды, — что *сама смерть может блистать своим отсутствием*, что вся она разрешается видимостью, искрящейся и поверхностной, что она — обольстительная внешность...

Ироническая стратегия обольстителя

Если обольстительницу женщину характеризует то, что она сотворяет себя видимостью, с тем чтобы внести смуту в гладь видимостей, то как обстоит дело с другой фигурой — фигурой обольстителя?

Обольститель тоже сотворяет себя приманкой, с тем чтобы внести смуту, но интересно, что приманка эта принимает форму расчета и наряд потесняется здесь стратегией. Но если наряд у женщины имеет явно стратегический характер, то разве нельзя предположить, что стратегия обольстителя, наоборот, есть парадный показ расчета, чем он пытается защититься от враждебной силы? Стратегия наряда, наряд стратегии...

Дискурсы, которые чересчур в себе уверены — в их числе и дискурс любовной стратегии, — должны быть подвергнуты иному прочтению: при всей несомненности своей "рациональной" стратегии они остаются все еще только орудиями *судьбы* обольщения, они настолько же режиссеры его, насколько и жертвы. Разве не кончает обольститель тем, что теряется в хитросплетениях собственной стратегии, как в лабиринте страсти? Не с

175

тем ли он ее изобретает, чтобы в ней потеряться? И разве не оказывается он, считающий себя хозяином игры, первой жертвой трагического мифа этой стратегии?

Одержимость молодой девушкой киркегоровского обольстителя. Наваждение этой нетронутый, еще бесполой фазы прелести и обаяния: она прелестна и мила, значит, нужно домогаться ее милости, наравне с Богом она пользуется несравненной привилегией — так она становится вызовом и ставкой в жестокой игре: ее нужно соблазнить, ее нужно погубить, потому что это она *от природы наделена всем мыслимым соблазном*.

Призвание обольстителя — искоренить эту естественную силу женщины или девушки продуманным действием, которое сумеет сравняться с противодействием или даже превзойти его, которое искусственной силой, равной или превосходящей силу естественную, сможет уравновесить эту последнюю — силу, которой он с самого начала поддался вопреки видимостям, рисуя обольстителем его. *Назначение* обольстителя, его воля и стратегия, отвечают прелестно-обольстительному *предназначению* девушки, тем более сильному, что оно неосознанно. Отвечают, чтобы заклясть эту предначертанную прелесть.

Нельзя оставлять последнего слова за природой: такова главная ставка в этой игре. Необходимо принести в жертву эту прелесть, исключительную, прирожденную,

176

аморальную как заклятая доля, подцепить волокитством обольстителя, который умелой тактикой доведет ее до эротической самоотдачи, после чего она перестанет быть силой соблазна, перестанет быть опасной силой.

Так что сам обольститель ничего из себя не представляет, исток соблазна целиком в девушке. Потому-то Йоханнес и может утверждать, что сам ничего не изобретал, а всему выучился у Корделии. Никакого лицемерия в этом нет. Расчитанное обольщение лишь зеркало природного, питается им как из источника, но лишь затем, чтобы вконец его истребить.

И потому также девушке не предоставляется никакого шанса, никакой инициативы в этой игре обольщения, где она смотрится просто беззащитным объектом. Дело в том, что вся роль ее уже целиком отыграна *до того*, как начнется игра обольстителя. Все, что могло свершиться, уже наперед имело место, и обольстителю своими действиями только и остается, что подчистить какой-то недочет природы или принять уже брошенный вызов, который заключен в красоте и природной прелести девушки.

Обольщение тогда меняет смысл. Из аморального, распутного предприятия, осуществляемого в ущерб добродетели, из циничного обмана в сексуальных целях (что особого интереса не представляет) оно становится мифическим, приобретая значимость жертвоприношения. Вот почему с такой легкостью получается им согласие "жертвы", которая самоотдачей своей в некотором роде

177

повинуется велениям божества, желающего, чтобы всякая сила была обратимой и жертвуемой, будь это сила власти или (естественная) сила соблазна, ибо всякая сила, и сила красоты превыше прочих, есть святотатство. Корделия суверенна, иными словами самовластна, и она приносится в жертву собственному самовластию. Смертоносная форма символического обмена — такова обратимость жертвоприношения, она не щадит вообще ни одну форму, даже саму жизнь, не щадит ни красоту, ни соблазн, который есть опаснейшая форма красоты. В этом плане обольститель не может выставлять себя героем эротической стратегии — он всего лишь оператор жертвенного процесса, который заведомо превосходит его самого. Ну а жертва не может похвастаться своей невинностью, поскольку, девственная, прекрасная, обольстительная, она сама по себе вызов, уравновесить который может только ее смерть (или ее обольщение, равнозначное убийству).

"Дневник обольстителя" — это сценарий идеального, безукоризненного преступления. Ничто в расчетах обольстителя, ни один из его маневров не терпит неудачи. Все разворачивается с такой безошибочностью, которая может быть только мифической, но никак не реальной или психологической. Это совершенство искушения, этот род предначертанности, что направляет жесты обольстителя, просто отражает как в зеркале врожденную прелесть девушки в ее безукоризненности и непреложную необходимость принести ее в жертву.

178

Здесь нет никакой личной стратегии: это судьба, и Йоханнес лишь орудие ее исполнения. А раз все предначертано, то орудие это действует безошибочно.

В любом процессе обольщения есть нечто безличное, как и в любом преступлении, нечто ритуальное, сверхсубъективное и сверхчувственное, и реальный опыт как обольстителя, так и жертвы — просто бессознательное отражение этого нечто. Драматургия без субъекта. Ритуальное исполнение формы, где субъекты поглощаются без остатка. Вот почему все в целом облекается разом эстетической формой творения искусства и ритуальной формой преступления.

Корделия обольщенная, ставшая любовной забавой на ночь, затем брошенная — ничего удивительного, и нечего выставлять Йоханнеса одиозным персонажем в добрых традициях буржуазной психологии: обольщение — жертвенный процесс и потому именно венчается убийством (дефлорацией). Вообще, этот последний эпизод только место занимает: как только Йоханнес получает уверенность в своей победе, Корделия уже мертва для него. Любовными удовольствиями завершается обольщение нечистое, но это уже не жертвоприношение. С этой точки зрения сексуальность следует переосмыслить как *экономический остаток* жертвенного процесса обольщения — точно так же неистраченный остаток архаических жертвоприношений питал собой неког-

179

да экономический оборот. Секс в таком случае просто сальдо или дисконт более фундаментального процесса, преступления или жертвоприношения, который не достиг полной обратимости. Боги забирают свою долю:

люди делятся остатками.

Обольститель нечистый, Дон Жуан или Казанова, посвящает жизнь накоплению именно этого остатка, порхая от одной постельной победы к другой, стараясь обольстить затем, чтобы получить удовольствие, никогда не достигая "духовного", по Киркегору, диапазона обольщения, когда доводятся до апогея присущие самой женщине силы и внутренние ресурсы соблазна, чтобы тем решительней бросить им вызов выверенной стратегией обращения.

Неторопливое заклинание, отнимающее у Корделии ее силу, заставляет вспомнить многочисленные обряды экзорцизма женской силы, которые повсеместно встречаются в ритуальной практике примитивных народов (Беттельгейм). Заклясть женскую силу плодородия, отрезать магическим кругом, охватить кольцом, по возможности симулировать и присвоить ее себе — таково значение кувады, искусственной инвагинации, ссадин и рубцов, всех этих бесчисленных символических ран, не забывая и не исключая тех, что наносятся при посвящении или установлении новой власти: политический аспект, затирающий несравненную привилегию женского в "природном" плане. В довершение стоит еще упомянуть о рецепте китайской сексуальной философии —

180

задержкой обладания и эякуляции мужское начало на себя отводит всю силу женского *ян*.

В любом случае женщине дано нечто такое, что требуется изгнать из нее искусственным путем, каким-либо обрядом экзорцизма, по завершении которого она лишается своей силы. И в свете этого жертвенного ритуала нет никакого различия между женским обольщением и стратегией обольстителя: речь неизменно идет о смерти и духовном хищении другого, о восхищении его и похищении его силы. Это всегда история убийства, или скорее эстетического и жертвенного заклания, поскольку, как утверждает Киркегор, все это всегда происходит на духовном уровне.

"Духовное" удовольствие обольщения. Сценарий обольщения, по Киркегору, носит духовный характер: здесь всегда требуется еще и *ум*, т.е. расчет, обаяние и утонченность, в условном смысле языка XVIII века, но также *Witz*. и остроумие в современном смысле.

Обольщение никогда не играет на желании или любовном влечении — все это пошлая механика и физика плоти: все это неинтересно. Тут все должно перекликаться едва уловимыми намеками, и *все знаки должны попадаться в западню*. Так уловки обольстителя оказываются отражением обольстительной сущности девушки, а та как бы удваивается иронической инсцени-

181

ровкой, приманкой, которая точно копирует ее собственную природу и на которую она затем без труда попадает.

Речь, стало быть, идет не о лобовом приступе, но о соблазне "по диагонали", пролетающем стрелой (что может быть соблазнительней стрел остроумия?), с ее живостью и экономичностью, и точно так же пользуясь, по формуле Фрейда, двояким употреблением одинакового материала: оружие обольстителя одинаково с оружием девушки, которая оборачивается против себя самой, — и эта обратимость стратегии как раз и составляет ее духовное обаяние.

Зеркалам справедливо приписывают духовность: дело тут, наверное, в том, что отражение само по себе остроумно. Очарование зеркалу придает не то, что в нем себя узнают — это простое совпадение, и скорее досадное, — но загадочная и ироничная черта удвоения. Стратегия обольстителя как раз и есть зеркальная стратегия, вот почему он никого в сущности не обманывает — и вот почему он сам никогда не обманывается, ибо зеркало непогрешимо (если бы его козни и западни сплетались извне, он с необходимостью совершил бы какой-нибудь огрех).

Стоит вспомнить еще одну черту подобного рода, достойную занять почетное место в анналах обольщения: двум разным женщинам пишется одинаковое пись-

182

мо. Причем без тени извращенности, с душой и сердцем нараспашку. Любовное волнение у той и другой одинаковое, оно существует, оно отличается своим особым качеством. Но совсем другое дело "духовное" удовольствие, истекающее от эффекта зеркальности двух писем, играющее как эффект зеркальности двух женщин, — вот что доподлинно есть удовольствие обольщения. Это более живой, более тонкий восторг, который в корне отличается от любовного волнения. Волнению желания никогда не сравняться с этой тайной и буйной радостью, которая играет тут самим желанием. Желание есть лишь один референт среди прочих, соблазн мгновенно восторгается над ним и берет его как раз *умом*. Соблазн есть *черта*, здесь он остроумно замыкает накоротко две фигуры адресатов как бы воображаемым совмещением двух образов, и при этом желание, возможно, действительно их смешивает, но в любом случае черта эта вызывает замешательство самого желания, отстреливает его к неразличности и легкому умопомрачению, навеянному тонким истечением какого-то высшего различия, какого-то смеха, который вскоре изгладит его слишком серьезное еще участие,

Соблазнять — это и значит вот так сводить в игре те или иные фигуры, сталкивать и разыгрывать между собой знаки, уловленные в свои собственные ловушки. Соблазн никогда не бывает следствием силы притяжения тел, стечения аффектов, экономии желания: необходимо, чтобы вмешалась в дело приманка и смешала

183

образы, необходимо, чтобы какая-то *черта* соединила внезапно, как во сне, разрозненные вещи или внезапно же разъединила неделимые: так первое письмо несет с собой неодолимое искушение быть переписанным для другой женщины, вливаясь в некий автономный иронический процесс, сама *идея* которого соблазнительна. Бесконечная игра, которой знаки спонтанно поддаются за счет этой иронии, благо ее всегда хватает. Может быть, они *хотят* поддаться соблазну, быть может, у них глубже, чем у людей, желание соблазнять и быть соблазняемыми.

Возможно, призвание знаков не только в том, чтобы включаться в те или иные упорядоченные оппозиции в целях обозначения — таково их современное *назначение*. Но их *предназначение*, их судьба, возможно, совсем в ином — в том, быть может, чтобы обольщать друг друга и тем самым обольщать нас. И тогда совершенно иная логика управляет их тайным обращением и циркуляцией.

Можно ли вообразить себе теорию, которая рассматривала бы знаки в плане их взаимного соблазна и притяжения, а не контраста и оппозиции? Которая бы вдребезги разбила зеркальность знака и ипотеку референта? И в которой все бы разыгрывалось как загадочная дуэль и неумолимая обратимость терминов?

Предположим, что все важнейшие различительные оппозиции, определяющие наше отношение к миру,

пронизываются соблазном, вместо того чтобы основываться на противопоставлении и различении. Что не только женское соблазняет мужское, но и отсутствие соблазняет присутствие, холодное соблазняет горячее, субъект соблазняет объект — ну и наоборот, разумеется:

потому что соблазн подразумевает этот минимум обратимости, который кладет конец всякой упорядоченной оппозиции, а значит и всей классической семиологии. Вперед, к обратной семиологии?

Можно себе вообразить (но почему же вообразить? так и есть), что боги и люди уже не разделяются моральной пропастью религии, а начинают друг друга соблазнять и вообще впредь вступают только в отношения соблазна — такое случилось некогда в Греции. Но, возможно, нечто подобное происходит с добром и злом, истинным и ложным, со всеми этими важнейшими различениями, которые служат нам для того, чтобы разгадывать мир и держать его под смыслом, со всеми этими терминами, столь кропотливо расчленяемыми ценой безумной энергии, — не всегда, конечно, это удавалось, и подлинные катастрофы, подлинные революции всегда объясняются имплозией одной из этих систем о двух членах: тут и приходит конец вселенной или какому-то ее фрагменту, — однако чаще всего имплозия эта развивается медленно, через износ терминов. Именно это мы наблюдаем сегодня — медленную эрозию всех полярных структур разом, окружающую нас вселенной, у которой все шансы вот-вот утратить последний рельеф смысла.

185

Без желания, без очарования, без назначения: отходит мир как воля и представление.

Но соблазнительна такая нейтрализация едва ли. Соблазн есть то, что бросает термины друг на друга и соединяет, когда их энергия и очарование на максимуме, а не то, что лишь смешивает термины при их минимальной интенсивности.

Предположим, что вот повсюду заиграют отношения обольщения, где сегодня в игре одни отношения оппозиции. Вообразим эту вспышку соблазна, расплавляющую все транзисторные, полярные, дифференциальные цепи смысла? Ведь есть примеры такой неразличительной семиологии (что перестает уже быть семиологией): элементы в древних космогониях вовсе не включались в какое-либо структурное отношение классификации (вода/огонь, воздух/земля и т.д.), то были притягательные элементы, не различительные, и они обольщали друг друга: вода соблазняет огонь, огонь соблазняет воду...

Такого рода соблазн сохраняет еще полную силу в отношениях дуальных, иерархических, кастовых, чуждых всякой индивидуализации, а равным образом во всевозможных аналогических системах, предварявших повсеместно наши логические системы дифференциации. И нет сомнений, что логические цепочки смысла все еще повсеместно пронизываются аналогическими цепочками соблазна — будто одна исполинская стрела остроумия одним махом воссоединяет разведенные

186

врозь термины. Тайная циркуляция соблазнительных аналогий под спудом смысла.

Впрочем, речь не идет о новой версии теории всеобщего притяжения. Диагонали — или трансверсали — соблазна, хотя и могут взорвать оппозиции терминов, не ведут, однако, к какому-то синтетическому или синкретическому отношению (это все мистика), но к отношению дуальному: это не *мистический* сплав субъекта и объекта, означающего и означаемого, мужского и женского и т.п., но оболыщение, т.е. отношение *дуальное и агонистическое*.

"На стене напротив висит зеркало; она о нем не думает, но оно-то о ней думает!" ("Дневник оболыстителя", с.61)

Уловкой оболыстителя будет его слияние с зеркалом на стене напротив, в котором девушка нечаянно отразится, не думая о нем, когда зеркало о ней думает.

Нельзя доверять смиренной покорности зеркал. Скромные слуги видимостей, они только и могут, что отражать предметы, оказавшиеся против них, не в силах скрыться или отстраниться, за что им все и признательны (только когда смерть в доме, их нужно прикрывать). Это просто-таки верные псы видимости. Однако верность их лукавая, они только того и ждут, чтобы вы

187

попались в западню отражения. Этот их взгляд искоса не скоро забудешь: они вас узнают, и стоит им застать вас врасплох там, где вы того не ждете, тут и пришел ваш черед.

Такова стратегия обольстителя: он прикрывается смирным на вид зеркалом, но это весьма маневренное зеркало, вроде щита Персея, которым обращена в камень сама Медуза Горгона. И девушке суждено стать пленницей этого зеркала, которое без ее ведома держит в мыслях и анализирует ее.

"Пусть заурядные обольстители довольствуются рутинными приемами; по-моему же, тот, кто не сумел овладеть умом и воображением девушки до такой степени, чтобы она видела лишь то, что ему нужно, кто не умеет покорить силой поэзии ее сердце так, чтобы все его движения всецело б зависели от него, тот всегда был и будет профаном в искусстве любви! Я ничуть не завидую его наслаждению: он профан, а этого названия никак нельзя применить ко мне. Я эстетик, эротик, человек, постигший сущность великого искусства любить, верящий в любовь, основательно изучивший все ее проявления и потому взявший право оставаться при своем особом мнении относительно ее... Я убежден в справедливости моего мнения, так же как и в том, что быть любимым больше всего на свете, беспредельной пламенной любовью — высшее наслаждение, какое только может испытать человек на земле... Подобно сновидению закрасться в ум девушки — ис-

кусство, но вновь вырваться на волю — это творение мастера". (С. 128.)

Обольщение никогда не бывает прямолинейным и в то же время не прикрывается какой-либо маской (в маску рядится заурядное обольщение) ~ оно *косвенно*.

"А что, если я слегка наклоню голову и загляну под вуаль: берегись, дитя мое, такой взгляд, брошенный снизу, опаснее, чем прямой выпад в фехтовании (а какое оружие может блеснуть так внезапно и затем пронзить насквозь, как глаз?), — маркируешь, как говорится, *in quarto* и выпадаешь *in secundo*. Славная это минута! Противник, затаив дыхание, ждет удара... раз! он нанесен, но совсем не туда, где его ожидали!" (С.64—65.)

"Я не встречаюсь с ней, в действительном смысле слова, а лишь слегка касаюсь сферы ее действий... Обыкновенно же я предпочитаю прийти туда несколько раньше, а затем столкнуться с ней на мгновение в дверях или на лестнице. Она приходит, а я уйду, небрежно пропуская ее мимо себя. Это первые нити той сети, которою я опутаю ее. Встречаясь с ней на улице, я не останавливаюсь, а лишь кланяюсь мимоходом; я никогда не приближаюсь, а всегда прицеливаюсь на расстоянии. Частые столкновения наши, по-видимому, изумляют ее: она замечает, что на ее горизонте появилась новая планета, орбита которой хоть и не задевает ее, но как-то странно мешает ее собственному движению. Об основном законе, двигающем эту планету, она и

не подозревает и скорее будет оглядываться направо и налево, отыскивая центр, около которого та вращается, чем обратит взор на самое себя. О том, что центр этот — она сама, Корделия подозревает столько же, сколько ее антиподы". (С.92-93.)

Другая форма косвенной реверберации: гипноз, род психического зеркала, в котором — здесь также — девушка, не отдавая себе в этом отчета, отражается под взглядом другого:

"Сегодня взор мой в первый раз остановился на ней. Говорят, Морфей давит своей тяжестью веки и они смыкаются: мой взор произвел на нее такое же действие. Глаза ее закрылись, но в душе поднялись и зашевелились смутные чувства и желания. Она более не видела моего взгляда, но чувствовала его всем существом. Глаза смыкаются, кругом настает ночь, а внутри ее светлый день!" (С. 124.)

Эта косвенность обольщения не двуличность. Там, где прямолинейность наталкивается на стену сознания и может рассчитывать лишь на весьма скудный выигрыш, обольщение, владея косвенностью сновидения и остроумия, одной диагональной чертой простреливает навывлет весь психический универсум с его различными уровнями, чтобы в конечном счете, "у антиподов", задеть неведомое слепое пятно, опечатанную точку тайны, Загадки, которую является девушка, в том числе и для себя самой.

190

Итак, есть два синхронных момента обольщения, или два мгновения одного момента: необходимо востребовать всю взыскательность молодой девушки, мобилизовать все ее женские ресурсы, но вместе с тем оставить их в подвешенном состоянии — конечно же, не пытаться застигнуть ее врасплох за счет ее инертности, в пассивной невинности; необходимо, чтобы в игру вступила свобода девушки, потому что эта-то свобода, увлекаемая своим внутренним движением, следуя собственной изначальной кривизне либо внезапному изгибу, запечатленному в ней обольщением, и должна как бы спонтанно достигнуть той точки, неведомой для нее самой, где она гибнет. Обольщение — это судьба: дабы она свершилась, требуется полная свобода, но также и то, чтобы свобода эта всецело тянулась, как сомнамбула, к собственной гибели. Девушка должна быть погружена в это второе состояние, которое дублирует первое, — состояние прелести и самовластия. Подстрекнуть это сомнамбулическое состояние, в котором разбуженная страсть, хмельная сама собой, падет в западню судьбы. "Глаза смыкаются, кругом настает ночь, а внутри ее светлый день!"

Умалчивание, запирательство, самоустранение, искажение, разочарование, передергивание — все нацелено на то, чтобы вызвать это второе состояние, тайну истинного обольщения. Если обольщение заурядное цепляет настойчивостью, то истинное окручивает отсутствием — точнее, изобретает что-то вроде искривленного пространства, где знаки, сбитые со своей траекто-

рии, возвращаются к собственному началу. Это непостижимое подвешенное состояние — существенный момент, девушка приходит в смятение от того, что ее ждет, отлично понимая — это ново и от этого уж не уйти, — что ее ждет нечто. Это момент высочайшей интенсивности, "духовный" (в киркегоровском смысле), подобный тому моменту в игре, когда кости уже брошены, но еще не остановились.

И вот, когда Йоханнес впервые видит девушку и слышит, как она оставляет приказчику свой адрес, он отказывается запомнить его:

"Вот теперь она, вероятно, говорит свой адрес, но я не хочу подслушивать: зачем лишать себя удовольствия нечаянной встречи? Уж когда-нибудь я встречу ее и, конечно, сразу узнаю. Она меня, вероятно, тоже: мой взгляд не скоро забудешь. А может быть, я и сам буду застигнут врасплах этой встречей. Ничего, потом наступит ее черед! Если же она не узнает меня — я сразу замечу это и найду случай опять обжечь ее таким же взглядом, тогда ручаюсь, что вспомнит! Только больше терпения, не надо жадничать — наслаждение следует глотать по капелькам. Красавица предназначена мне и не уйдет". (С. 62.)

Игра соблазнителя с *самим собой*: на данной стадии это даже не уловка, обольститель сам себя пленяет задержкой обольщения. И тут не просто какое-то второстепенное, приблизительное удовольствие; ведь с этого

192

неприметного зазора начинает расползаться пропасть, куда в конечном счете падет девушка. Все как в фехтовании: для умного выпада требуется дистанция. От начала до конца обольститель даже и не подумает искать сближения с девушкой, а напротив, постарается всемерно упрочить эту дистанцию, используя для того самые разные методы: с ней самой не заговаривать, а беседовать лишь с ее теткой на занудные и вздорные темы, нейтрализовать все иронией и напускным заумством, не замечать в ней женщины и не отвечать ни на какие ее эротические порывы, и в довершение всего подыскать ей шутовского воздыхателя, который должен заставить ее разочароваться в любви. Разочаровывать, расхолаживать, обманывать ожидания, сохранять дистанцию — пока сама она, по собственной инициативе, не разорвет помолвку, доведя таким образом до ума все труды обольстителя и создавая идеальную ситуацию для того, чтобы отдаться ему без остатка.

Обольститель тот, кто умеет отпустить знаки, как отпускают поводья: он знает, что только подвешенность знаков ему благоприятствует и что лишь в таком состоянии их подхватывает течение судьбы. Он не транжирит знаки направо-налево, но выжидает момент, когда они все отзовутся друг другу, выбросив совершенно особенный расклад головокружительного падения.

"Находясь в обществе барышень Янсен, она очень мало говорит — их пустая болтовня, очевидно, наводит на нее

193

скуку, что я вижу по улыбке, блуждающей на губах, и *на этой улыбке я строю многое*". (С. 94.)

"Сегодня я пришел к Янсен и тихо приотворил дверь в гостиную... Она сидела одна за роялем и, видимо, играла украдкой... Я мог бы, пользуясь моментом, ворваться и броситься к ее ногам, но это было бы безумием... Когда-нибудь в задумчивом разговоре с ней я наведу ее на эту тему и дам ей провалиться в этот люк". (С. 95—96.)

Даже эпизоды, где Йоханнес отвлекается в сторону заурядности, с обрывками либертеновской бравады и рассказом о его любовных похождениях (эти связи занимают все больше места в повествовании — образ Корделии теперь почти незаметный филигранный пунктир, едва намеченный игриво-распутным воображением:

"Любить одну — слишком мало, любить всех — слишком поверхностно; а вот изучить себя самого, любить возможно большее число девушек... вот это значит наслаждаться, вот это значит жить!", с. 119), — даже эти эпизоды фривольного обольщения включаются в "большую игру" соблазна, по правилам все той же философии косвенности и отвлекающего маневра: "большой" соблазн тайно прокрадывается путями низменного, который лишь создает эффект подвешенности и пародийности. Перепутать их просто невозможно: один есть любовная забава, другой — духовная дуэль. Все интермедии, все паузы могут только подчеркнуть медленный, рассчитанный, непреложный ритм "высокого" соблаз-

194

на. Зеркало все тут же, на стене напротив, мы о нем не думаем, зато оно о нас, и неспешно делает свое дело в сердце Корделии.

По-видимому, своей низшей точки процесс достигает в момент помолвки. Создается впечатление, что это мертвая точка, обольститель приложил все силы, чтобы лукавством своим разочаровать, разубедить, утратить Корделию, и теперь доводит дело до почти что извращенного унижения; впечатление такое, что пружина оказалась чересчур тонка и сломалась-таки, вся женственность Корделии усохла, нейтрализованная обступившими ее ловушками-приманками. Этот момент помолвки, который "настолько важен для молодой девушки, что она всем существом может приковаться к нему, как умирающий — к своему завещанию", — этот момент Корделия проживает, даже не понимая толком происходящего, ее лишают малейшей возможности реагировать, не дают рта раскрыть, обводят вокруг пальца:

"Стоило мне прибавить еще одно слово, и она могла засмеяться надо мною, и — она могла растрогаться, одно слово, и — она замяла бы разговор... Но ни одного такого слова не вырвалось у меня; я оставался торжественно-глупым, держась по всем правилам ритуала жениховства". "Нельзя, значит, похвалиться, чтобы помолвка моя имела поэтический оттенок, она была во всех отношениях благопристойной и мелкобуржуазной по духу". (С. 137.)

195

"Ну вот я и жених, а Корделия невеста. И это, кажется, все, что она знает относительно своего положения". (С. 138.)

Все это напоминает опыт инициации, где посвящаемый испытывает свое собственное уничтожение. Ему нужно пережить фазу смерти — не страдание, не страсти даже: небытие, пустоту — предельный момент перед озарением страсти и эротической самоотдачи. Обольститель включает каким-то образом этот *аскетический* момент в *эстетическое* движение, заданное им процессу в целом.

"Всякая девушка, доверившись мне, встретит с моей стороны вполне эстетическое обращение. Конечно, дело кончается обыкновенно тем, что я обманываю ее, но это тоже происходит по всем правилам моей эстетики". (С. 144.)

Есть доля юмора в том, что с помолвкой обольщение как бы теряет явный смысл и выходит из игры. Здесь это событие, которое в буржуазном видении XIX века составляло только радостную преамбулу к браку, превращается в суровый эпизод инициации, предпринятого в возвышенных интересах страсти (одинаковых с рассчитанными целями обольщения) сомнамбулического перехода через пустыню помолвки. (Вспомним, что помолвка стала ключевым эпизодом в жизни многих романтиков, в первую очередь самого Киркегора, но не забудем также о еще более драматичных помолвках Клейста, Гёльдерлина, Новалиса, Кафки. Всегда мука, все-

196

гда неудача, помолвка снедалась почти мистической страстью (оставим в покое импотенцию!), пылавшей тем жарче, чем глубже зарывалась она в зачарованную твердыню застывшего времени, осаждаемую призраками постельных и брачных разочарований.)

Но и когда в этом зыбком мареве теряется как будто и цель, и само присутствие Йоханнеса, он все-таки жив еще, живя в невидимом танце обольщения, он только сейчас, и никогда больше, живет его жизнью с такой интенсивностью, потому что только здесь, в ничто, в отсутствии, в изнанке зеркала, обретает он уверенность в своем торжестве: Корделия не может ничего иного, как разорвать помолвку и броситься в его объятия. Весь огонь страсти здесь, прозрачный, филигранный, никогда больше не найдет он его столь прекрасным, как в этом предвосхищении, потому что девушка до поры, в этот миг, еще суженая, судьбой предназначенная, но уже не будет ею, когда пробьет час и чары развеются. Предназначение — вот главный корень умопомрачительности обольщения, как и любой другой страсти. Предначертанность — вот что изощряет лезвие рока, по которому скользит удовольствие, вот что несетя стрелой остроумия, *наперед* сочетая движения души с их грядущей судьбой и смертью: здесь и торжествует обольститель, здесь и читается его понимание истинного обольщения как духовной экономии — в невидимом танце помолвки:

197

"Я переживаю вместе с ней зарождение ее любви, невидимо присутствую в ее душе, хотя и сижу видимо рядом с ней. Это странное отношение можно, пожалуй, сравнить с па-де-де, исполняемым одной танцовщицей. Я — невидимый партнер ее. Она движется как во сне, но движения ее требуют присутствия другого (этот другой — я, невидимо-видимый): она наклоняется к нему, простирает объятия, уклоняется, вновь приближается... Я как будто беру ее за руку, дополняю мысль, готовую сформироваться. Она повинуется гармонии своей собственной души, я же только даю толчок ее движению, толчок *не эротический* — это разбудило бы ее, — но легкий, почти бесстрастный, *безличный*. Я как бы ударяю по камертону, задавая основной тон для всей мелодии". (С. 144.)

Итак, одним движением раскрывается сразу несколько сторон обольщения, которое:

- закликает чью-то силу: жертвенная форма;
- совершает убийство, часто идеальное преступление;
- творит произведение искусства: "Обольщение как одно из изящных искусств" (убийство, разумеется, тоже может быть таковым);
- действует в духе остроумия: "духовная" экономия. С таким же обоюдным потворством (дуальным и дуэльным), как и при обмене колкостями, когда все — намек, недомолвка, недосказанность: эквивалент аллюзивно-церемониального обмена тайной;

198

— является аскетической, но вместе и педагогической формой духовного испытания: своего рода школа страсти, урок майевтики, эротической и иронической в одно и то же время.

"Молодая девушка — прирожденный ментор, у которого всегда можно учиться, если ничему другому, так по крайней мере искусству — обмануть ее же! Никто на свете не научит этому лучше ее самой". (С. 153.)

"У всякой девушки, как у Ариадны, есть нить, помогающая отыскать дорогу в лабиринт ее сердца... но не ей самой, а другому". (С. 169.)

— предстает как агональная форма дуэли или войны — не насилия, не какого-то силового отношения, но всегда только состязания, военной игры. Здесь обольщение, как и всякая стратегия, складывается из двух синхронных движений:

"В отношениях с Корделией мне нужно прибегнуть к двойному маневру... Борьба с ней начинается, и я отступаю, суля ей победу надо мной. В своем отступлении я демонстрирую перед ней все оттенки любви: беспокойство, страсть, тоску, надежду, нетерпение... Все это, проходя перед ее умственным взором, производит глубокое впечатление на ее душу и оставляет в ней зародыши подобных же чувств. Это нечто вроде триумфального шествия: я веду ее за собой, воспевая победу и указывая ей путь. Увидя власть

любви надо мной, она научится верить, что любовь — великая сила... Но она не должна подозревать, что обязана своим нравственным освобождением мне, — тогда она потеряла бы веру в свои собственные силы. Когда же она наконец почувствует себя свободной, свободной настолько, что ей почти захочется воспользоваться этой свободой — порвать со мной связь, тогда-то начнется настоящая борьба! Я не боюсь развития страсти и жажды борьбы в ее душе, каков бы ни был непосредственный исход этого...

Разрыв так разрыв. Борьба все-таки начнется вновь, и победителем из нее выйду — я! Это так же верно, как и то, что ее победа надо мной в борьбе, которую мы ведем теперь и которую можно назвать предварительной, — лишь мнимая. Чем больше назревает в ней стиль для предстоящей впереди "настоящей" борьбы, тем интенсивнее будет сама борьба. Первая борьба — борьба освобождения, и это только игра, вторая же, борьба завоеваний, будет борьбою на жизнь и смерть!" (С. 149—150.)

Все эти ставки в игре обольщения выставляются вокруг мифической фигуры молодой девушки. Она сама партнер и ставка в этой многоуровневой дуэли, а значит, не может быть ни сексуальным объектом, ни фигурой Вечной Женственности: обольщению равно чужды оба этих важнейших указателя женщины в западной традиции. И не найти здесь также ни идеальной жертвы в образе девушки, ни идеального субъекта под видом обольстителя, как нет отдельных фигур жертвы и пала-

200

ча в жертвоприношении. Ее завораживающее воздействие — это гипнотизм мифического существа, загадочного партнера, равноправного с обольстителем протагониста в этом по сути литургическом пространстве вызова и дуэли.

Какой разительный контраст в сравнении с "Опасными связями"! У Лакло обольщаемая женщина находится на положении осажденного замка, по образу военной стратегии эпохи — не столь статичной, правда, как некогда, но чья конечная цель все та же: капитуляция. Жена президента — крепость, подвергаемая осаде и вынуждаемая к сдаче. Никакого соблазна — полиоркетика чистой воды.

Соблазн тут в ином плане: не от соблазнителя к жертве, но между соблазнителями, от Вальмона к Мертей, преступным сговором разделяясь по вставленным между жертвам. То же у Сада: в действии и на подъеме от своих собственных преступлений только тайное общество палачей, жертвы вовсе не в счет.

Здесь и не пахнет той тонкой наукой переворачивания, которую еще Сунь-цзы ввел в военное искусство, которая заметна в философии дзен и восточных боевых искусствах, или, наконец, в обольщении, как рисуется оно Киркегором, где обольщаемая девушка со всей своей страстью, всей своей свободой целиком и полностью включается в движение обольщающей стратегии. "Она

201

была загадкой, которая загадочно в себе самой несла свое собственное решение".

Все в этой дуэли определяется переходом от этики к эстетике, от *наивной страсти* к *страсти рефлексированной*:

"Теперь ее страсть можно еще назвать наивной, когда же в ней произойдет душевный переворот, а я начну отступать, она употребит все усилия, чтобы удержать меня; для этого у нее будет только одно средство — страсть, и она направит ее против меня как единственное свое оружие. То чувство, которое я искусственно разжигаю в ней, заставляя смутно предугадывать и желать чего-то большего, разгорится тогда ярким пламенем и будет от меня требовать того же. Моя страсть, сознательная, обдуманная, уже не удовлетворит ее; она впервые заметит мою холодность и захочет побороть ее, инстинктивно чувствуя, что во мне таится та высшая пламенная страсть, которой она так жаждет. Тогда-то ее неопределенная наивная страсть превратится в цельную, энергичную, всеохватывающую и диалектическую, поцелуй приобретет силу, полноту и определенность, объятия сконцентрируются". (С.181—182.)

Этика — это простота (желания в том числе), это естественность, включающая в себя бесхитростную любезность молодой девушки, спонтанный порыв ее наивной прелести. Эстетика — это игра знаков, это искусствен-

202

ность; искушенность — это обольщение. Всякая этика должна разрешаться в эстетику. Для киркегоровского обольстителя, как и для Шиллера, Гёльдерлина, даже Маркузе, переход к эстетике означает высочайшее движение, которому только может отдаться род человеческий. Однако эстетика обольстителя не слишком на это похожа: характер ее не божественный, не трансцендентный, но ироничный и скорее дьявольский — у нее *форма* не идеала, но остроумной шутки — она не превышение этики, но перегиб, отклонение, совращение, обольщение, ясно что преображение — но в зеркале обмана. Вместе с тем эту стратегию приманки, свойственную обольстителю, нельзя назвать и каким-то извращенным движением, она составной частью включается в эстетику иронии, что нацелена на превращение заурядного телесного эротизма в страсть и остроумие:

"Я замечаю, что Корделия всегда пишет мне: "мой", но у нее не хватает духу назвать меня так в разговоре. Сегодня я сам нежно попросил ее об этом. Она было попробовала, но сверкнувший как молния мой иронический взгляд лишил ее всякой возможности продолжать, хотя уста мои и уговаривали ее изо всех сил. *Вот такое настроение мне и нужно*". (С. 197-198.)

"Она похожа теперь на Афродиту, олицетворяя собой и телесную, и душевную гармонию красоты и любви, с той лишь разницей, что она не покоится, как богиня, в наивном и безмятежном сознании своей прелести, а взволно-

ванно прислушивается к биению своего переполненного любовью сердца и всеми силами борется с мановением бровей, молнией взора, загадочностью чела, красноречием вздымающейся груди, опасной заманчивостью объятий, мольбой и улыбкой уст, словом — со сладким желанием, охватывающим все ее существо! В ней есть и сила, энергия валькирии, но эта сила чисто эротическая и умеряется каким-то сладким томлением, веющим над нею... *Нельзя, однако, оставлять ее слишком долго на этой высоте настроения...*" (С 198-199.)

Ирония неизменно предотвращает губительное излишние, которое могло бы предвосхитить исход игры и перекрыть небывалые возможности каждого из игроков, каковые только соблазн способен развернуть в полной мере за счет подвешенности, иронической уклончивости, за счет развенчания иллюзий, оставляющего открытым эстетическое пространство.

Порой обольститель выказывает-таки слабость. Так, ему случается, в приливе чувств, затянуть панегирическую литанию во славу женской красоты — она дробится до бесконечности, детально выписывается в мельчайших эротических нюансах (с. 203,204, 205), затем вновь собирается единой фигурой в пылком воображении всеохватывающего желания — это Божеское видение, — но тотчас перехватывается и проворачивается обратимостью в воображении дьявольском, холодном воображении видимости: женщина — греза мужчины — вот, кста-

204

ти, и Бог извлек ее из мужчины во время сна. Потому она имеет все черты сновидения — и в ней, можно сказать, остатки дневной реальности смешиваются и сливаются в грезу.

"Она перестает быть мечтой, сновидением, т.е. пробуждается лишь от прикосновения любви. В период сновидений и грез женщины можно, однако, различить две фазы: когда любовь грезит о ней и — когда она сама грезит о любви". (С.205.)

Стоит ей полностью отдаться, и все для нее закончится, она умрет, она утратит эту прелесть видимости, станет полем, станет женщиной. Одно мгновение, последнее, "когда она стоит в своем венчальном наряде, и весь блеск и пышность его бледнеют перед ее красотой, а она сама бледнеет перед чем-то неизвестным..." (с.213), она сверкает еще блеском видимости — потом будет слишком поздно.

Таков метафизический удел обольстителя — красота, смысл, субстанция и превыше всего Бог — *этически ревнуют самих себя*. В большинстве своем вещи этически ревнивы к себе самим, они хранят свою тайну, блюдут свой смысл. Что же до обольщения, которому больше дела до видимости и до дьявола, то оно *эстетически ревнует самого себя*.

205

Вопрос, который задает себе Йоханнес после заключительных перипетий истории, когда Корделия ему отдается — бросается в его объятия, а он немедленно бросает ее, — звучит так: "Остался ли я в своих отношениях к Корнелии верен священным обязательствам моего пакта? — Да, т.е. обязательствам моего союза с эстетикой. Моя сила в том и заключается, что я постоянно остаюсь верен идее... Не переступил ли я хоть раз во все это время законов интересного? — Ни разу" (с.213—214). Ибо просто соблазнять, и больше ничего, интересно только в первой степени — здесь же речь идет об *интересном во второй степени*. Это возведение в степень, эта потенциализация — тайна эстетики. Только интересное интересного обладает эстетической силой соблазна.

Трудами обольстителя природные прелести девушки так или иначе доводятся до чистой видимости, зажигаются блеском и сверкают в чистой видимости, т.е. в сфере соблазна, — и там уничтожаются. Ведь в большинстве своем вещи, увы, обладают смыслом и глубиной, но *лишь некоторые достигают видимости* — и лишь они одни абсолютно обольстительны. Обольщение состоит в динамике преобразования вещей в чистую видимость.

Вот почему обольщение увенчивается мифом, в умопомрачении видимостей — за мгновения до того, как исполнится в реальности. "Все рисует мне чудную картину, рассказывает волшебную сказку. Я сам станов-

206

люсь мифом о самом себе... Да разве все происходящее теперь — не миф? Я спешу на свидание; кто я, что я — не имеет значения; все конечное, временное исчезло, остается вечное... Поезжай же, насмерть загони лошадей, пусть они рухнут оземь у крыльца — только не медли ни одной секунды, пока мы не на месте!" (с. 222).

Только одна ночь — и все кончено: "Я не желаю более видеть ее". Она отдала все, она погибла, как гибнут многочисленные героини-девы греческой мифологии, превращаясь в цветы и в этой второй участи обретая странную растительную и замогильную прелесть, отголосок обольстительной прелести их первой судьбы. Но, как жестоко замечает киркегоровский обольститель, "минули давно те времена, когда обманутая девушка могла превратиться с горя в гелиотроп" (с.233). Еще более жестоко и довольно-таки неожиданно другое замечание: "Будь я божеством, я сделал бы для нее то, что Нептун для одной нимфы, — превратил бы ее в мужчину". Это равнозначно утверждению, что женщина не существует. Существуют только девушка и мужчина, одна благодаря возвышенности своего состояния, другой в силу своей способности погубить ее.

Но мифическая страсть обольщения не перестает быть ироничной. Ее венчает последняя меланхолическая черточка: обстановка дома, которая послужит декорацией для любовной сцены. Момент подвешенности, в которой собраны обольстителем все разрозненные черты его стратегии, и он созерцает их словно перед

207

смертью. Вместо ожидавшейся торжественной декорации — меланхолическая раскопка омертвевшей истории. Все тут воссоздано с целью мгновенно пленить воображение Корделии в тот последний момент, когда судьба ее круто переменится; маленькая гостиная, где они встречались у нее дома, с таким же диваном, чайным столом, лампой, как все это "едва не было" прежде, и как все это *есть* здесь и сейчас, в своем окончательном подобии. Пианино открыто, на пюпитре развернуты ноты, все та же шведская песенка — Корделия войдет через заднюю дверь — все предусмотрено — и обнаружит выжимку всех пережитых вдвоем мгновений. Иллюзия безукоризненная. На самом-то деле игра уже окончена, обольститель только довершает все ироническим завитком, припоминает все хитрости и шутки, которыми он с самого начала окруживал Корделию, и пускает их по ветру шутихами (к слову пришлось), выпаливая этим фейерверком пародийное надгробное слово венчанной любви.

Корделия уже не появится на сцене, если не считать тех нескольких отчаянных писем, которыми открывается повествование, — и само отчаяние это выглядит странно. Ведь формально ее не назовешь ни обманутой, ни обкраденной в собственном желании — а была она *духовно совращена* игрой, правил которой не знала. Окрученная точно чародейством — ощущение, что, сама того не ведая, попала в сети каких-то слишком уж сокровенных козней, куда более разрушительных, чем даже можно было опасаться, ощущение того, что тебя

208

духовно умыкнули: ведь на самом деле это ее собственное обольщение у нее украдено — и против нее же обращено. Безымянная участь, и повергает в оцепенение, до которого простому отчаянию очень и очень далеко.

"Горе такой жертвы было не сильным, но естественным горем обманутых и покинутых девушек: она не могла облегчить своего переполненного сердца ни ненавистью, ни прощением. Посторонний глаз не мог уловить в ней никакого видимого изменения, она продолжала жить по-прежнему, доброе имя ее оставалось незапятнанным, но все ее существо как бы перерождалось, непонятно для нее самой, невидимо для других. Ей не нанесено было никакой видимой раны, жизнь ее не была грубо надломлена чужой рукой, но как-то загадочно уходила вовнутрь, замыкалась в самой себе". (С.52.)

Страх быть обольщенным

Пусть даже соблазн — страсть или судьба, чаще всего верх одерживает обратная страсть: не поддастся соблазну. Мы бьемся, чтобы укрепить себя в своей истине, мы бьемся против того, что хочет нас совратить. Мы отказываемся соблазнять из страха быть соблазненными.

Все средства хороши, чтобы этого избежать. Мы можем без передышки соблазнять другого, только бы самим не уступить соблазну — можно даже притвориться обольщенным, чтобы положить конец всякому обольщению.

Истерия соединяет страсть обольщения со страстью симуляции. Она защищается от соблазна, расставляя знаки-ловушки: всякая вера в них у нас отнимается как раз тогда, когда они поддаются прочтению подчеркнуто обостренно. Все эти терзания, преувеличенные угрызения совести, патетические шаги к примирению, нескончаемые увещания и подзуживания, вся эта круговерть с целью разрушить цепь событий и обеспечить собствен-

210

ную неприкосновенность, это навязываемое другим умопомрачение и эта ложь — все это род окрашенного соблазном устрашения-сдерживания со смутным намерением не столько соблазнить самому, сколько ни в коем случае не дать соблазнить себя.

Ни задушевности, ни тайны, ни аффекта — такова истеричка, которая целиком отдается внешнему шантажу, погоне за эфемерным, зато тотальным правдоподобием своих "симптомов", абсолютному требованию заставить других поверить (как мифоман со своими историями) и одновременному развенчанию всякой веры — причем не пытаясь даже использовать иллюзии, разделяемые другими. Абсолютный запрос при полной невосприимчивости к ответу. Запрос, растворяющийся в знаковых и постановочных эффектах. Соблазн тоже смеется над истиной знаков, но он-то ее превращает в обратимую видимость, тогда как истерия играет ею, но ни с кем не желает разделить эту игру. Как если бы она себе одной присвоила весь процесс обольщения, перебивая собственные ставки и сама себя взвинчивая, другому же не оставляя ничего, кроме ультиматума своей истерической *конверсии*, без какой-либо надежды на *реверсию*. Истеричке удастся сделать преградой соблазну свое собственное тело: соблазн, обращаемый в камень собственным телом, завораживаемый своими же симптомами. С единственной целью, чтобы другой окаменел в ответ, сбитый с толку патетической психодрамой разыгранной подмены: если соблазн — вызов, то истерия — шантаж.

211

Сегодня большинство знаков, сообщений (в числе прочего) навязывается нам именно таким истерическим способом, предполагающим устрашением заставить нас говорить, верить, получать удовольствие, способом шантажа, вынуждающего на слепую психодраматическую сделку лишенными смысла знаками, которые между тем все умножаются и гипертрофируются как раз по причине того, что в них нет больше тайны и что им нет больше доверия. Знаки без веры, без аффекта, без истории, знаки, которых ужасает сама идея обозначать что-либо — совсем как истеричку ужасает мысль, что она может быть соблазненной.

В действительности истеричку ужасает бездна отсутствия, зияющая в самом сердце нашем. Ей нужно себя опустошить, своей нескончаемой игрой изгнать это отсутствие, в тайнике которого еще могла бы расцвести любовь к ней, где она сама могла бы еще себя любить. Зеркало, позади которого, на грани самоубийства, но умея приплести самоубийство, как и все прочее, к процессу театрального и запирательского обольщения, — она остается бессмертна в своей показной изменчивости.

Тот же процесс, но как бы обратной истерии, при анорексии, фригидности, импотенции: превратить свое тело в изнанку зеркала, стереть с него все знаки соблазна, лишить его очарования и сексуальности точно так же предполагает шантаж и ультиматум: "Вы меня не соблазните, только попробуйте, я бросаю вам вызов". Тем самым соблазн проступает даже там, где он отвергнут —

212

в отказе от соблазна, поскольку вызов — одна из основных его модальностей. Только вызов должен все-таки оставлять место для ответа, должен быть готов (сам того не желая) уступить ответному соблазну, в данном же случае игра прерывается. Прерывается опять-таки телом, но если здесь инсценируется *отказ от соблазна*, то истеричка отделяется постановкой *запроса на соблазн*. В любом случае, речь идет о неприятии возможности соблазнять и быть соблазненным.

Проблема, таким образом, не половая или пищеварительная импотенция, со всем ее кортежем психоаналитических резонов и нерезонов, но *импотенция в отношении соблазна*. Разочарование, неврозы, тревога, фрустрация — все, с чем сталкивается психоанализ, конечно же, обусловлено неспособностью любить и быть любимым, наслаждаться и дарить наслаждение, но радикальная разочарованность вызывается соблазном и его осечкой. Действительно больны лишь те, кто радикально недосыгаем для соблазна, пусть даже они прекрасно могут любить и получать наслаждение. И психоанализ, воображая, будто занимается болезнями желания и пола, в действительности имеет дело с болезнями соблазна (хотя именно психоанализ немало потрудился, чтобы вывести соблазн из его собственной сферы и запереть в дилемме пола). Дефицит, переносимый тяжелей всего, имеет отношение не столько к наслаждению, удовлетворению (насуточных и сексуальных потребностей) или символическому Закону, сколько к прельщению, очаро-

ванию и правилу игры. Лишиться соблазна — вот единственно возможная кастрация.

К счастью, подобная операция раз за разом прогорает, соблазн фениксом возрождается из пепла, а субъект не в силах помешать тому, чтобы все обернулось последней отчаянной попыткой оболыщания (как происходит, скажем, в случае импотенции или анорексии), чтобы отказ обернулся вызовом. Наверное, то же самое происходит даже в обостренных случаях отречения от собственной сексуальности, где соблазн выражается в своей наиболее чистой форме, поскольку и тут другому брошен вызов: "Докажи мне, что речь не об этом".

Иные страсти противостоят соблазну, но, к счастью, тоже чаще всего срываются на верхнем витке спирали. Например, коллекционерство, собирательский фетишизм. Наверное, их антагонистическое родство соблазну столь велико, потому что и здесь речь идет об игре, следующей собственному правилу, которое в силу своей интенсивности способно подменить любое другое:

страсть абстракции, бросающей вызов всем нравственным законам, чтобы не осталось ничего, кроме абсолютного церемониала замкнутой вселенной, в которой субъект сам себя заточает.

Коллекционер ревниво домогается исключительных прав на мертвый объект, утоляющий его фетишистскую страсть. Секвестрация, заточение: первым эк-

214

земпляром в его коллекции всегда становится он сам. И никогда уже не сумеет он отвлечься от этого безумия, потому что его любовь к объекту, любовная стратегия, которой он опутывает его, — это прежде всего ненависть и страх перед соблазном, истекающим от объекта. Впрочем, также ненависть и отвращение к себе — к соблазну, который может исходить от него самого.

"The Collector" (*Коллекционер*), фильм и роман, иллюстрирует это безумие. Главный герой безуспешно пытается соблазнить молодую девушку. Заставить ее полюбить себя он тоже не может (хотя нужно ли ему обольщение, нужна ли спонтанность любви? Конечно, нет: он хочет вынудить любовь, навязать соблазн). Тогда он похищает ее и запирает в подвале сельского дома, предварительно оборудованном как раз для такого рода времяпрепровождения. Он устраивает ее, заботится о ней, окружает самым тщательным вниманием, но пресекает любые попытки к бегству, расстраивает все ее уловки, он не смилуется над ней до тех пор, пока она не признает себя побежденной и обольщенной, пока не полюбит его "спонтанно". Со временем в этой вынужденной близости между ними завязывается род смутного, неясного взаимопонимания: однажды вечером он приглашает ее отобедать "наверху", не забыв, конечно, о всевозможных предосторожностях. Тут она на самом деле предпринимает попытку обольщения и предлагает ему себя. Быть может, к этому моменту она уже любит его, а может, просто хочет обезоружить. Наверняка то и другое. Как бы

215

там ни было, этот ход вызывает в нем панический ужас, он бьет ее, оскорбляет и снова бросает в погреб. Он теряет к ней всякое уважение, раздевает и делает порноснимки, которые собирает в особый альбом (вообще-то он коллекционирует бабочек — как-то он и ей с гордостью продемонстрировал свою коллекцию). Она заболевает, впадает в беспамятство, его она больше не занимает, скоро она умирает, он закапывает ее во дворе. Последние кадры показывают его в поисках другой женщины, чтобы так же заточить ее и любой ценой соблазнить.

Потребность быть любимым, неспособность быть обольщенным. Даже когда женщина в конце концов соблазнилась (достаточно, чтобы захотеть соблазнить его), он сам не может принять этой победы: он предпочитает видеть в этом наведение сексуальной порчи и соответственно наказывает ее. Импотенция тут ни при чем (импотенция *вообще* ни при чем), просто он предпочитает ревнивое очарование коллекции мертвых объектов — мертвый сексуальный объект ничем не хуже какой-нибудь бабочки со светящимися надкрыльями — соблазну живого человека, который потребовал бы от него ответной любви. Лучше уж монотонная замороженность коллекцией, гипнотизм мертвого различия — лучше уж одержимость тождественным, только бы не соблазн другого. Вот почему с самого начала догадываешься, что она умрет, но не потому, что он какой-нибудь опасный маньяк, а потому что он существо логическое, и логика его

216

необратима: соблазнить, не поддавшись соблазну, — никакой обратимости.

В данном случае необходимо, чтобы один из двоих умер, причем всегда это один и тот же — потому что другой уже мертв. Другой бессмертен и неуничтожим, как и всякая перверсия, что хорошо иллюстрирует конец фильма, где герой неизбежно все начинает сначала (в этом сказывается своеобразный юмор — ревнивцы, как и извращенцы, вообще полны юмора вне сферы своего заточения, даже в мельчайших деталях своих метод). Так или иначе, он сам заперт в неразрешимой логике: все знаки любви, какие она могла бы ему подать, будут истолкованы прямо противоположным образом. И самые нежные покажутся самыми подозрительными. Его бы еще устроили, возможно, какие-то опошленные знаки, но чего он на самом деле не выносит, так это подлинного любовного призыва: по его собственной логике, она тем самым подписывает свой смертный приговор.

Это не история пытки — это очень трогательная история. Кто сказал, что лучшее доказательство любви — в уважении к другому и его желанию? Быть может, красота и соблазн *должны* поплатиться заточением и смертью, потому что слишком опасны, потому что нам никогда не воздать им за то, что они дарят нам. Тогда остается лишь подарить им смерть. Девушка так или иначе признает это, поскольку уступает этому высшему обольщению, предложенному ей метафорой заточения. Только ответить она уже не может иначе, как банальным

217

сексуальным предложением — действительно пошлым в сравнении с тем вызовом, который сама она бросает своей красотой. Удовольствиям секса никогда не заглушить требований соблазна. Некогда каждый смертный обязан был жертвой выкупать свое живое тело, и сегодня еще каждая соблазнительная форма — возможно, вообще каждая живая форма — обязана выкупать себя смертью. Таков символический закон — впрочем, даже не закон вовсе, а неизбежное правило, т.е. мы следуем ему без всяких оснований, нам достаточно лишь произвольной очевидности и не нужно никакого превосходящего нас принципа.

Следует ли отсюда заключить, что всякая попытка соблазна разрешается убийством объекта страсти, или, слегка перефразируя, что она всегда есть не что иное, как попытка свести другого с ума? Всегда ли чары, которыми опутывается другой, пагубны? Быть может, это мстительная реторсия чар, которыми он опутал вас и которые теперь обращаются против него самого? Что за игра здесь ведется — не играли в смерть? В любом случае, эта игра куда ближе к смерти, чем безмятежный обмен сексуальными удовольствиями. Соблазняя, мы всегда должны расплачиваться тем, что сами поддаемся соблазну, т.е. отрываемся от самих себя и делаемся ставкой в колдовской игре, где все подчиняется символическому правилу непосредственной и полной разделенности — то же правило определяет жертвенное отношение между людьми и богами в культурах жестокости,

218

иначе говоря безграничного признания и разделенности насилия. Соблазн тоже элемент культуры жестокости, это ее единственная церемониальная форма, какая нам осталась, во всяком случае, это то, что помечает нашу смерть не как случайную или органическую форму, но как строго необходимую, как неизбежное следствие игрового правила: смерть остается ставкой всякого символического пакта — пакта вызова, тайны, обольщения, извращения.

Тонкие отношения связывают соблазн и извращение. Разве сам соблазн не форма совращения или искажения миропорядка? Однако из всех страстей, из всех душевных порывов перверсия, возможно, плотнее всего противостоит соблазну.

Обе страсти жестоки и безразличны к сексу.

Соблазн есть нечто такое, что завладевает всеми удовольствиями, всеми аффектами и представлениями, даже всеми грезами, чтобы переиначить их первоначальную динамику в нечто совсем другое — в игру более острую и более тонкую, ставка в которой не знает ни конца, ни начала, не совпадает ни с влечением, ни с желанием.

Если существует какой-то *естественный закон* пола, какой-то принцип удовольствия, тогда соблазн сводится к отрицанию этого принципа и подмене его правилом игры — *произвольным* правилом: в этом смысле он

219

извращен. Безнравственность перверсии, как и соблазна, обусловлена не уходом с головой в сексуальные удовольствия вопреки всякой нравственности — она обусловлена куда более серьезным и тонким уходом от самого секса как референции и как нравственности, включая сюда и плотские удовольствия.

Игра, а не оргазм. Извращенец холоден в отношении секса. Он преобразует сексуальность и секс в ритуальный вектор, в ритуально-церемониальную абстракцию, в горящую ставку знаков взамен торга желания. Всю интенсивность секса он переводит на уровень знаков в их динамичном развертывании, как Арто переводил ее на уровень театральной динамики (необузданное вторжение знаков в реальность), которая тоже есть род церемониального насилия и не может определяться как влечение — только обряду присуще насилие, только игровое правило насильственно, поскольку кладет конец системе реального: такова истинная жестокость, кровопролитие здесь ни при чем. И в этом смысле перверсия жестока.

Гипнотическую силу строю извращения приносит основанный на правиле ритуальный культ. Извращенец не преступает закон, но ускользает от него, чтобы отдаться правилу, ускользает не только от репродуктивной целесообразности, но в первую очередь от самого сексуального строя вместе с его символическим законом, ускользает, чтобы приблизиться к иной форме — ритуализованной, регламентированной, церемониальной.

220

Перверсивный контракт на самом деле не контракт вовсе, не договор между двумя свободными партнерами, но *пакт*, имеющий в виду соблюдение того или иного правила и устанавливающий дуальное отношение (как вызов), т.е. исключаящий любую третью сторону (в этом его отличие от контракта) и неразложимый на индивидуальные определения. Именно благодаря такому пакту и такому дуальному отношению, благодаря этой сети *чуждых закону* обязательств перверсия становится, с одной стороны, неуязвимой для внешнего мира, с другой стороны — неанализируемой в терминах индивидуального бессознательного, а значит, недоступной для психоанализа. Потому что строй правила не входит в юрисдикцию психоанализа — только строй закона. Перверсия же составляет часть этой другой вселенной.

Дуальное отношение упраздняет закон обмена. Перверсивное правило упраздняет естественный закон пола. Правило произвольное, подобно игровому правилу, и не столь важно его содержание — суть дела в приложении правила, знака или системы знаков в обход сексуальной сферы (это могут быть и деньги, как у Клоссовского, обращенные в ритуальный вектор перверсии и всецело совращенные от естественного закона обмена).

Отсюда родство между обителями, тайными обществами, замками Сада и вселенной извращения. Все эти обеты, обряды, нескончаемые садовские протоколы... Культ правила — вот что их объединяет, узда правила, а вовсе не разнузданность — вот что ими разделяется. И уже

221

в недрах этого правила извращенец (извращенная пара) спокойно может допустить все возможные социальные или сентиментальные выверты и вывихи, потому что все это затрагивает только закон (ср. изображение класса буржуазии у Гобло: позволено все — с единственным условием, чтобы в целости осталось правило класса, система произвольных знаков, определяющая его как касту). Возможны любые трансгрессии — но только не нарушение Правила.

Так соблазн и перверсия взаимно притягиваются в своем общем вызове естественному порядку. Но во многих случаях они резко отталкиваются друг от друга — мы видели это на примере "Коллекционера", где ревниво-извращенная страсть одерживает верх над соблазном. Другой пример — история "Танцовщицы", переданная Лео Шеером. Эсэсовец в концлагере заставляет еврейскую девушку станцевать ему перед смертью. Она подчиняется, ее палач захвачен, в танце она приближается к нему, выхватывает оружие и убивает. Два мира приходят в столкновение — мир эсэсовца, модель извращенной, молниеносно бьющей силы, гипнотической силы того, кто самовластно распоряжается вашей жизнью и смертью, и мир девушки, модель обольщения танцем. Из них двоих торжествует последний: соблазн вторгается в строй замороженности и заражает его обратимостью (хотя в большинстве случаев у него нет ни единого шанса туда проникнуть). Здесь мы ясно видим, что это две взаимоисключающие и смертельные друг для друга логики.

222

Но не следует ли, скорее, рассматривать их как единый цикл непрерывной реверсии? Коллекционерская страсть под конец подействовала на девушку вопреки всему как род соблазна (или то была лишь завороченность? но опять же: в чем разница?), как род умопомрачения, вызванного тем, что она, отчаянно пытаясь очертить и обогнуть отторгнутую вселенную перверсии, вычерчивает в то же время точку проема, пустоту, откуда странный антисоблазн действует на нее новой формой притяжения.

Какой-то соблазн извращен: истеричка пользуется средствами обольщения, чтобы от него защититься. Но и какое-то извращение соблазнительно, так как посредством и в обход перверсии ведет к обольщению.

При истерии соблазн становится непристойным. Но в некоторых формах порнографии непристойность вдруг делается соблазнительной. Насилие может соблазнять. А изнасилование? Гнусное и мерзкое могут соблазнить. Где останавливается петля перверсии? Где завершается цикл реверсии и где ее следует остановить?

Но все же остается одно глубокое различие: извращенец всеми фибрами не доверяет соблазну и стремится его кодифицировать. Он пытается зафиксировать его правила, формализовать их в тексте, провозгласить в пакте. Поступая так, он нарушает фундаментальное правило — правило тайны. Гибкий церемониал, подвижная дуэль обольщения ему не по душе — он хочет заменить их четко фиксированными церемониалом и дуэлью.

223

Превращая правило в нечто священное и непристойное, рассматривая его как цель, *то есть как закон*, он возводит неприступный оборонительный барьер: побеждает театр правила, как в истерии — театр тела. Вообще все извращенные формы соблазна объединяет то, что они выдают его тайну и предают фундаментальное правило, которое как раз в том и состоит, что не должно разглашаться.

В этом смысле обольститель тоже может быть извращением. Потому что и он совращает соблазн от его тайного правила и обращает в заранее скоординированную операцию. Он относится к обольщению так же, как шулер — к игре. Если игра нацелена на выигрыш, тогда шулер — единственный настоящий игрок. Если б у обольщения была какая-либо цель, тогда обольститель являл бы собой его идеальную фигуру. Но как раз цели-то ни игра, ни обольщение не имеют, и можно побиться об заклад, что не что иное определяет поведение шулера и заставляет его унижаться до циничной стратегии выигрыша любой ценой, как ненависть к игре, отказ от присущего игре соблазна — и точно так же можно побиться об заклад, что поведение обольстителя определяется его страхом перед соблазном, страхом поддаться соблазну и встретиться с грозящим неизвестностью вызовом своей собственной истине: это и втягивает его в сексуальную конкисту, увлекая затем к новым бесчисленным победам, в которых он сможет фетишизировать свою стратегию.

224

Извращенец всегда увязает в маниакальной вселенной господства и закона. Господство фетишизированного правила, абсолютная ритуальная очерченность замкнутого пространства: здесь ничто больше не играет. Ничто не шевелится. Все мертво, и лишь смерть свою только и можно еще разыграть. Фетишизм есть соблазн мертвого, в том числе омертвелою правила перверсии.

Извращение — отмороженный вызов, обольщение — живой. Соблазн подвижен и мимолетен, перверсия монотонна и нескончаема. Извращение предполагает театральность и "тайный" сговор, обольщение — настоящую тайну и обратимость.

Системы, преследуемые своей систематичностью, заволаживают: они ловят смерть как энергию гипнотизма. Так, коллекционерская страсть пытается оцепить и заморозить соблазн, трансформировать его в энергию смерти. Тогда-то в их работе и происходит *перебой, который внезапно оказывается соблазнительным*. Террор разбивается иронией. Или соблазн подстерегает системы в точке их инерционного сбоя, где они останавливаются, где нет больше никакой запредельности, никакого возможного представления — в точке невозвращения, где траектории замедляются, а объект поглощается своей собственной силой сопротивления и своей собственной плотностью. Что происходит в окрестностях этой инерционной точки? Объект здесь искажается по-

225

добно солнцу, преломленному в дифферентных слоях у горизонта, расплющивается под собственной массой и перестает подчиняться собственным законам. О подобных инерционных процессах мы ничего не знаем, нам лишь известно, что подстерегает их на краю этой черной дыры: точка невозвращения внезапно становится точкой тотальной обратимости, катастрофы, в которой дуга смерти разрешается в новый эффект соблазна.

III. Политическая судьба соблазна

Страсть правила

Игрок не должен быть больше
самой игры.

Роллербол

Именно об этом говорится в "Дневнике обольстителя":

в соблазне нет никакого господствующего субъекта, который направлял бы стратегию обольщения. Более того, развертываясь при полном сознании протагонистами используемых в ней средств, стратегия эта подчиняется превосходящему ее правилу игры. Соблазн, ритуальная драма по ту сторону закона, есть разом игра и судьба. Без нарушений правила — ибо связывает их именно правило — участники драмы увлекаются к своему неизбежному концу, и основополагающее обязательство здесь таково: игра должна продолжаться во что бы то ни стало, пусть даже ценой смерти. Игроков связывает с правилом, которое их связывает, род страсти, без которой никакая игра не была бы возможна.

Обычно наша жизнь не оставляет строя Закона, включая сюда и фантазм его упразднения. Запредельность за-

229

кона видится нам лишь в трансгрессии или снятии запрета, поскольку схема Закона и запрета начальствует и над обратной схемой трансгрессии и освобождения. *Но закону противостоит не беззаконие, а Правило.*

Правило играет на имманентной взаимосвязи произвольных знаков — Закон опирается на трансцендентную взаимосвязь необходимых знаков. Правило есть циклическая возобновляемость набора условных процедур, Закон — инстанция, основанная на необратимости и непрерывности. Первое принадлежит к строю обязательства, второй — к строю принуждения и запрета. Коль скоро Закон проводит некую разграничительную черту, его трансгрессия возможна и необходима. И напротив, нет никакого смысла "преступить" какое-либо правило игры — в рекуррентной возобновляемое™ цикла нет никакой черты, которую необходимо и возможно было бы пересечь (из игры выбывают, одно очко — и все кончено). Претендуя на то, чтобы быть дискурсивным знаком легальной инстанции, потаенной истины, Закон (социального запрета, кастрации, означающего) повсюду устанавливает запрет, вытеснение, а значит, и разграничение между дискурсом явным и скрытым. Правило, будучи условным, произвольным и лишенным какой-либо тайной истины, не знает ни вытеснения, ни разграничения между явным и скрытым: оно попросту не имеет смысла, оно никуда не подводит — тогда как Закон обладает совершенно определенной финальностью. Бесконечная обратимая

230

цикличность Правила противостоит целенаправленной линейности Закона.

Статус знаков в Законе отличается от их статуса в Правиле. Закон относится к строю представления, а значит, подлежит истолкованию и расшифровке. Он относится к строю постановления или высказывания, к которым субъект безразличен. Он текст, подпадающий власти смысла и референции. У Правила нет субъекта, и модальность его выражения мало что значит; его не расшифровывают, и удовольствие от смысла здесь отсутствует — имеет значение лишь соблюдение Правила и умопомрачительность его соблюдения. Это отличает также ритуальную страсть, интенсивность игры от наслаждения, связанного с повиновением Закону — или с его трансгрессией.

Чтобы ухватить интенсивность ритуальной формы, нам, несомненно, следует отказаться от мысли, что все счастье наше — от природы, а всякое наслаждение — от исполнения желания. Игра, игровая сфера вообще раскрывают нам страсть правила, умопомрачительность правила, силу, идущую не от желания, а от церемониала.

Не переносимся ли мы в игровом исступлении в ситуацию сродни сновидению, в которой мы свободны от пут реальности и вольны оставить игру в любой момент? Такое впечатление ложно: игра подчиняется в отличие от сновидения определенным правилам, и нельзя просто

231

так бросить игру. Порождаемое игрой обязательство — того же порядка, что и обязательство вызова. Бросать игру "неспортивно", и эта невозможность отрицания игры изнутри, составляющая ее очарование и выделяющая ее из строя реального, порождает в то же время своего рода символический пакт, требование безоговорочного соблюдения правил и обязательство дойти в игре до конца, как обязуются идти до конца, бросая вызов.

Учреждаемый игрою строй, будучи условным, несоизмерим с необходимым строем реального мира: его нельзя назвать ни этическим, ни психологическим, а его принятие (наше согласие с правилом) ничего общего не имеет ни с покорностью, ни с принуждением. Стало быть, попросту не существует никакой свободы игры в нашем нравственном и индивидуальном понимании "свободы". Игра — не свобода. Она не подчиняется диалектике свободной воли — гипотетической диалектике сферы реального и закона. Вступить в игру означает вступить в ритуальную систему обязательства, и ее интенсивность обусловлена именно этой посвятительной формой, а вовсе не каким-то эффектом свободы, как нам нравится предполагать по причине известного косоглазия нашей идеологии, которая всюду выискивает один только "естественный" источник счастья и наслаждения.

Единственный принцип игры (хотя он никогда не выставляется универсальным) состоит в том, что *выбор правила освобождает вас в игре от закона.*

232

Не имея ни психологического, ни метафизического основания, правило лишено также фундамента верования. В правило нельзя верить или не верить — правило соблюдают. В игре пропадает неопределенная оболочка верования, окутывающая все реальное, улетучивается это неизменное требование вероятия — отсюда аморальность игры: *мы действуем, не веря в то, что делаем*, не опосредуя своим верованием завораживающий блеск чисто условных знаков и лишённого каких-либо оснований правила.

Долг в игре также пропадает: здесь ничто не искупается, с прошлым не сводится никаких счетов. По той же причине чужда ей и диалектика возможного и невозможного: в игре не сводят никаких счетов с будущим. Здесь нет ничего "возможного", поскольку все разыгрывается и разрешается без каких-либо альтернатив или надежд, по непосредственной и неумолимой логике. Вот почему за покерным столом не смеются — логика игры *cool*, но лишена какой-либо развязности, а сама игра, являясь безнадежной, никогда не бывает непристойной и не дает повода для смеха. Она безусловно серьезнее жизни — это ясно видно из того парадоксального факта, что сама жизнь может сделаться в ней ставкой.

Итак, игра не опирается на принцип реальности. Но не в большей степени опирается она и на принцип удовольствия. Единственная движущая сила ее — колдовское очарование правила и описываемой им сферы — но это вовсе не сфера иллюзии или развлечения, а об-

ласть иной логики, искусственной и посвятительной, в которой упраздняются естественные определения жизни и смерти. Такова особенность игры, такова ее ставка — и напрасно пытаться упразднить ее особенность в тесноте экономической логики, которая отсылает к понятию сознательного вклада, или же логики желания, отсылающей к бессознательной цели. Сознательное или бессознательное — это двойное определение годится для сферы смысла и закона, но не подходит для сферы правила и игры.

Закон описывает всеобщую в принципе систему смысла и ценности. Закон имеет в виду объективное признание. И на базе этой трансцендентности, его основывающей, закон складывается в инстанцию тотализации реальности: все трансгрессии и революции прокладывают путь к универсализации закона... Правило же имманентно определенной, ограниченной системе, оно очерчивает ее, не выходя за ее пределы, и внутри этой системы оно непреложно. Правило не нацелено на всеобщее, и собственно говоря, нет ничего внешнего по отношению к нему, поскольку правило не устанавливает в то же время никакого внутреннего рубежа. Трансцендентность Закона основывает необратимость смысла и ценности. Имманентность Правила, его произвольность и описательность вызывают в его собственной области обратимость смысла и реверсию Закона.

234

Постичь подобную вписанность правила в сферу без какой-либо запредельности (это уже не вселенная, поскольку правило не имеет в виду всеобщее или вселенское) столь же непросто, как и понятие конечной вселенной. Мы не можем вообразить себе предел без запредельности, конечное всегда предстает нам на фоне бесконечности. Но сфера игры ни конечна, ни бесконечна — трансконечна, быть может. Ей присуща собственная кривизна, и этой конечной кривизной она оказывает сопротивление бесконечности аналитического пространства. Изобретение правила означает сопротивление линейной бесконечности аналитического пространства ради обретения пространства обратимого — ведь правило по-своему революционно, и это революция в собственном смысле: конвекция к центральной точке и реверсия цикла (так функционирует в мировом цикле ритуальная сцена), действующие помимо всякой логики начала и конца, причины и следствия.

Конец центробежных измерений: внезапная, интенсивная гравитация пространства, упразднение времени, которое мгновенно имплодирует и обретает столь большую плотность, что ускользает от законов традиционной физики — весь ход событий получает кривизну и по спирали устремляется к центру, где интенсивность наибольшая. Таково завораживающее очарование игры, кристально чистая страсть, стирающая память и воспоминание, ведущая к утрате рассудка и смысла.

Всякая

235

страсть смыкается с ней по форме, но страсть игры — чистейшая в своем роде.

Лучшей аналогией здесь могли бы послужить первобытные культуры, которые описываются как замкнутые на самих себе и лишённые воображаемого относительно остального мира — не имеющие о нем никакого представления. Но дело в том, что остальной мир существует лишь для нас, а замкнутость этих культур, далеко не будучи рестриктивной, просто обусловлена иной логикой, которую мы, увязшие в воображении всеобщего, способны теперь понимать только в уничижительном смысле, в качестве урезанного, по сравнению с нашим, горизонта.

Символическая сфера этих культур не знает никакого остатка. Но игра тоже, в отличие от реальности, есть нечто такое, от чего не остается абсолютно ничего. В ней нет истории, нет памяти, нет внутреннего накопления (ставка непрерывно растрачивается и обращается, по тайному правилу игры ничто не экспортируется из нее — в форме прибыли или "прибавочной стоимости"), поэтому внутренняя сфера игры не знает никакого остатка. Но мы не можем даже сказать, что нечто остается вне игры. "Остаток" подразумевает нерешенное уравнение, неисполняющуюся судьбу, некий вычет или вытеснение. Но *уравнение игры всегда решается до конца*, судьба игры всякий раз исполняется, не оставляя никаких следов (в этом ее отличие от бессознательного).

По теории бессознательного, некоторые аффекты, сцены и означающие бесповоротно утрачивают возмож-

236

ность включиться в игру — оказавшись отторгнутыми, вне игры. Ифа же основывается на гипотезе, что в игру может быть пущено решительно все. Иначе нам пришлось бы признать, что мы всегда уже заранее проиграли, а играем только потому, что предварительно потеряли нечто. Однако в игре нет никаких утраченных объектов. Игре не предшествует ничего, что не сводилось бы к игре, в особенности гипотетический прежний долг. Если и присутствует в игре элемент экзорцизма, то изгнанию здесь подвергается не какой-то долг, сделанный перед лицом закона, но *сам Закон как неискупимое преступление*, это экзорцизм Закона как дискриминации, как непростительной трансцендентности в недрах реальности, Закона, трансгрессия которого лишь умножает преступления, раздувает долги, усугубляет траур.

Закон основывает правовое равенство: все перед ним равны. Перед правилом, напротив, никакого равенства нет, поскольку правило не является правовой юрисдикцией и потому что для равенства необходима обособленность. Партнеры же не обособлены, они изначально состоят в агонистическом дуальном отношении — всякая индивидуализация здесь отсутствует. Они не солидарны:

солидарность — это уже симптом *формальной* идеи социума, нравственный идеал какой-либо конкурирующей общественной группы. Партнеры *связаны*: паритет есть обязательство, не нуждающееся в солидарности, он полностью охватывается своим правилом, так что его не нужно ни обдумывать, ни усваивать.

237

Для функционирования правилу не нужна никакая формальная, моральная или же психологическая структура либо надстройка. Именно в силу того, что правило произвольно, ни на чем не основывается и ни к чему не относится, ему не нужен консенсус, воля или истина группы: оно существует, и все — причем существует, разделяемое всеми партнерами, тогда как Закон витает где-то поверх множества разрозненных индивидов.

Такая схема может быть хорошо проиллюстрирована логикой, которую Гобло в "Барьере и уровне" обозначил в качестве культурного правила касты (но также и класса буржуазии):

1. Тотальный паритет партнеров, разделяющих одно Правило — это "уровень".

2. Исключительность Правила, отторжение остального мира — это "барьер". Экстерриториальность в своей собственной сфере, абсолютная взаимность в отношении обязательств и привилегий: игра возвращает этой логике ее первоначальную чистоту. Агонистическое отношение между равными ("пэрами") никогда не ставит под вопрос взаимный привилегированный статус партнеров. Последние же вполне могут прийти к нулевому соглашению, все ставки могут быть упразднены, суть в том, чтобы сохранить взаимную очарованность — и произвольность Правила в ее основе.

Вот почему дуальное отношение сбрасывает со счетов всякий труд, всякую заслугу и любые личные каче-

238

ства (особенно в чистой форме азартной игры). Личностные черты допускаются сюда только в виде любезности или соблазнительности, лишённые какого бы то ни было психологического эквивалента. Так проходит игра — божественная прозрачность направляющего ее Правила.

Очарование игры порождается этим избавлением от всеобщности в конечном пространстве — этим избавлением от равенства в непосредственном дуальном паритете — этим избавлением от свободы в обязательстве — этим избавлением от Закона в произвольности Правила и церемониала.

В каком-то смысле люди более равны перед церемониалом, чем перед Законом (отсюда, возможно, та приверженность вежливости и церемониальному конформизму, которой отличаются в особенности малообразованные слои общества: конвенциональными знаками обмениваться проще, чем нагруженными смыслом, "интеллигентскими" знаками). Люди и более свободны в игре, чем где бы то ни было, потому что им не приходится по-настоящему усваивать правило, они должны лишь выказывать по отношению к нему чисто формальную верность — и они избавлены от требования преступать его, как обстоит дело с законом. Правило освобождает нас от Закона. Избавляет от принуждения выбора, свободы, ответственности, смысла! Только силой про-

извольных знаков устраняется террористическая ипотека смысла.

Но не будем обманываться: конвенциональные знаки, ритуальные знаки — это все знаки *обязанные*. Ни один из них не волен, соотносясь с реальностью отношением истины, означать что-либо изолированно. Конвенциональным знакам неведома та свобода артикулировать себя по воле своих аффектов и своего желания (смысла), какую обрели индивиды и знаки в современную эпоху. Они не могут пуститься в свободное плавание — каждый такой знак слишком отягощен собственной референцией, своей частицей смысла. Каждый отдельный знак связан с другим, но не в абстрактной структуре языка, а в бессмысленном течении церемониала, все знаки отдаются эхом и удваиваются в других, настолько же произвольных.

Ритуальный знак не является репрезентативным знаком, а потому не заслуживает нашего понимания. Но он избавляет нас от смысла. И по этой причине мы особенно сильно привязаны к нему. Игровые долги, долги чести — все, что касается игры, священо, поскольку условно.

Барт во "Фрагментах речи влюбленного" следующим образом оправдывает свой выбор алфавитного порядка изложения: "Чтобы подавить искушение смысла, следовало найти абсолютно *неозначающий порядок*", а имен-

240

но ни заранее оговоренный, ни даже чисто случайный, но совершенно условный. Поскольку, как утверждает Барт, цитируя одного математика, "нельзя недооценивать способности случая породить монстров", т.е. логические последовательности, т.е. смысл.

Иными словами, смыслу противостоит вовсе не тотальная свобода или тотальная индетерминация. Смысл может рождаться и в простой игре хаоса и случайности. Какие-то новые диагонали смысла, новые последовательности могут возникать из беспорядочных токов желания: так происходит во всех современных философиях, которые толкуют о "молекулярности", "интенсивности" и претендуют на подрыв смысла путем дробления, преломления и разветвления желания, представляемого в виде броунова движения частиц — как и случай, желание обладает способностью породить (логических) монстров, и способность эту нельзя недооценивать.

Детерриториализация, отключение, отрыв — все это не дает избежать смысла. Но мы можем избежать его, подменив смысловые эффекты еще более радикальным симулякром, еще более условным строем — таков алфавитный порядок изложения у Барта, таково игровое правило, таковы бесчисленные ритуалы повседневной жизни, противостоящие разом и беспорядку (случайности), и порядку смысла (политическому, историческому, социальному), который им хотят навязать.

Индетерминация, отрыв, пролиферация (в виде звезды или ризомы) — все это лишь обобщает смысловые

эффекты, распространяя их на всю сферу бессмыслицы, лишь обобщает чистую форму смысла — форму целесообразности без цели и без содержания. *И один только ритуал упраздняет смысл.*

Вот почему не существует "ритуалов трансгрессии". Этот термин противен смыслу, особенно применительно к празднеству, поставившему столько вопросов перед нашими революционерами: является ли празднество трансгрессией или же возрождением Закона? Чуть: ритуал, ритуальная литургия празднества не относятся к строю Закона или его трансгрессии, они принадлежат к строю Правила.

Столь же абсурдно наше отношение к магии. Мы повсюду торопимся перетолковать по закону то, что в действительности обуславливается правилом. Так, в магии мы усматриваем попытку словчить с принципом производства и законом труда. Дикари, дескать, преследуют те же "полезные" цели, что и мы, только не хотят для их достижения делать рациональных усилий. Но это вовсе не так: магия есть ритуал, нацеленный на поддержание игры аналогического сочетания мира в единую цепочку, циклической взаимосвязи всех вещей, связанных своими знаками: магией правит одно гигантское правило игры, и основная проблема здесь — сделать так, чтобы вещи и дальше играли подобным образом — в силу своей аналогической смежности или же под чарами со-

со-

блзна. Ничего общего с линейной цепочкой причин и следствий, которая так хорошо знакома нам. Такая цепочка, такая взаимосвязь *объективна*, но не слажена — она "неправильна", поскольку нарушает правило.

Магию нельзя даже назвать хитростью перед лицом закона — она не обманывает. Она расположена в совсем иной плоскости. Вот почему судить о ней исходя из этого критерия столь же абсурдно, как и оспаривать произвольность правил игры с точки зрения "объективных" данных природы.

Та же плоская объективистская чушь изрекается и по поводу игры на деньги. Цель у такой игры якобы чисто экономическая: заработать деньги, не затратив при этом никаких усилий. Та же попытка перескочить переходные этапы, что и в случае магии. Та же трансгрессия принципа эквивалентности и труда, правящего "реальным" миром. Тогда истину игры следовало бы искать именно в реальном мире, в области манипуляций с ценностью и законом стоимости.

Но это означало бы забвение присущей игре силы соблазна. Не только той, что увлекает и приковывает вас к игре, но и связанной с игровым правилом силы трансмутировать ценности. Поставленные на кон деньги тоже отклоняются от своей истины, *совращаются* — отрываются как от закона эквивалентности ("выбрасываются на ветер"), так и от закона представления: они перестают быть репрезентативным знаком, поскольку преобразуются в ставку. Ставка же ничего общего не имеет с

243

вкладом. Вложенные во что-либо, деньги сохраняют форму капитала — поставленные на карту, они принимают форму вызова. Деньги, брошенные на кон, не имеют абсолютно ничего общего с капиталовложением, как и сексуальная "инвестиция" ("загрузка либидо") ничего общего не имеет со ставкой обольщения.

Инвестиции, контринвестиции — все это психическая экономия влечений и пола. Игра, ставка и вызов — это уже фигуры страсти и соблазна. В более общем плане: всякий денежный, языковой, сексуальный или аффективный материал получает совершенно различный смысл в зависимости от того, мобилизуется ли он в инвестицию или же обращается в ставку. Две эти фигуры абсолютно несводимы одна к другой.

Если бы игра имела какую бы то ни было цель или вообще финальность, тогда единственным истинным игроком оказался бы шулер. В трансгрессии закона, возможно, и есть какое-то очарование — но ничего подобного нет в факте жульничества, в факте трансгрессии правила. Шулер, впрочем, и не совершает никакого преступления, поскольку игра не является системой запретов, а значит, нет и черты, которую можно было бы переступить. Правило нельзя "преступить", его можно лишь не соблюсти. Но несоблюдение правила не приводит к состоянию трансгрессии — оно попросту отбрасывает вас под пяту закона.

244

Так происходит с шулером, который профанирует ритуал, отрицает церемониальную условность игры и тем самым возвращает на сцену экономическую целесообразность (или психологическую, если играет ради удовольствия от выигрыша), т.е. закон реального мира. Дуальное очарование игры разрушается вторжением индивидуальной детерминации. Преступление шулера, за которое некогда его карали смертью и за которое его по-прежнему жестоко осуждают, на самом деле одного порядка с инцестом — нарушение правил культурной игры в пользу "закона природы".

Для шулера не существует даже ставки. Он смешивает ставку с процессом получения прибавочной стоимости. Ведь прежде всего ставка позволяет вступить в игру, использовать ее еще с какой-либо целью означает растрату того, что вам уже не принадлежит. Точно так же и правило есть не что иное, как сама возможность игры, дуальное пространство партнеров. Искать в нем самоцель (закон, истину) — значит разрушать и игру, и ставку. Правило не обладает автономией — этим, по Марксу, важнейшим качеством товара и субъекта товарно-денежных отношений, этой неприкосновенной ценностью экономического царства. Шулер-то как раз *автономен*:

он поднимает на щит закон, свой собственный закон, против произвольного ритуала правила — и тем самым роняет себя. Шулер свободен, и в этом его падение. Шулер вульгарен, потому что не позволяет себе поддаться соблазну игры, потому что отказывает себе в умопо-

245

мрачении соблазна. Можно, впрочем, предположить, что выгода, на которую он рассчитывает, — всего лишь предлог, в действительности же он передергивает только ради того, чтобы *ускользнуть* от соблазна, из страха поддаться соблазну.

Вызов игры совсем другое дело, а игра всегда вызов — не только за зеленым столом. Свидетельство тому — история того американца, который дал в газете объявление "Пришлите мне один доллар" и получил затем десятки тысяч. Он никому ничего не обещал, так что о мошенничестве здесь не приходится говорить. Он не написал "Мне нужен один доллар" — так ему никто и цента бы не дал. Он лишь внушил читателям едва ощутимую надежду на то, что они чудесным образом могут получить за свой доллар кое-что взамен. *Кое-что неравноценное*. Сорвать куш. Он бросил им вызов.

Что за таинственную сделку им выпала возможность заключить вместо того, чтобы закупить на свой доллар мороженого? Конечно, они не верили, что с обратной почтой получают десять тысяч. На самом деле они по-своему приняли этот вызов и, что важнее, еще и другой — ведь им была предложена ситуация магической "вилки", в которой выигрывают при любом раскладе:

"Как знать, может, что и выгорит (десять штук с обратной почтой), тогда это знак расположения ко мне богов (Каких? — Да тех, что объявление в газете дали!).

246

А не сработает, значит, та неведомая сила, что послала мне знак, просто не приняла вызов. Тем хуже для нее. Я же в этой игре с богами выиграю психологически".

Двойной вызов: мошенник бросает его лопуху, но и простофиля бросает вызов — судьбе. Если судьба его одолевает, теперь он с ней в расчете. Чувство вины всегда падко на экзорцизм, в этом на него всегда можно положиться — но дело-то тут не столько в чувстве вины. Нелепая отправка доллара в ответ на нелепо вызывающее объявление есть религиозный, *жертвенный* ответ в полном смысле слова и сводится он к следующему: "Не может такого быть, чтоб за этим ничего не стояло. Я требую богов ответить или вообще перестать быть" — такой предупредительный окрик небесам всегда доставляет удовольствие.

Ставка и вызов, пред-упреждение, перебивание ставок — за всем этим и речи быть не может о вере *во* что-то, вере в смысле верования. Да разве кто-нибудь *во* что-либо "верит" подобным образом? Дело ведь не в том, чтобы верить или не верить *во* что-то — в Деда Мороза, например. Это просто нелепое понятие сродни мотивации, потребности, инстинкту, влечению, желанию и бог знает каким еще легко напрашивающимся тавтологиям, которые прячут от нас тот факт, что за нашими поступками нет никакого "психологического фундамента" ве-

247

рования, а есть лишь ставки, есть лишь вызовы; никакого спекулятивного расчета на чье-то там бытие (человека с долларом, например, или Бога) — одна только непрерывная провокация: игра. В Бога не верят, не верят и в случай — разве что в низведенных до банальности дискурсах религии и психологии. Им бросают вызов, они бросают вам вызов, с ними играют, и потому "верить" в них не нужно — верить им *не должно*.

В религиозном строе не верование, но *вера* занимает то же место, что и обольщение в любовном вызове. Верование имеет в виду *бытие Бога*, но бытие — всего лишь скудный остаточный статус, это то, что остается, когда все прочее выхолощено; вера же есть *вызов бытию Бога*, вызов Богу быть — и умереть в ответ. Верой Бог *соблазняется*, и не ответить он не может, потому что соблазн, как и вызов, есть обратимая форма. Отвечает он благодатью, которая есть стократный возврат и воздаяние Бога в ответ на вызов веры. Все вместе образует систему обязательств, как при ритуальном обмене, и Бог всегда связан, он всегда вынужден отвечать, притом что *бытие ему никогда не навязывается*. Верование одного требует от Бога — существовать и гарантировать существование мира: лишенная очарования, контрактная форма; вера делает Бога ставкой в игре: вызов Бога человеку, заставляющий человека быть (ответить на который можно и смертью), сталкивается с вызовом человека Богу, заставляющим Бога ответить на его жертву, т.е. пожертвовать в ответ самим собой.

248

Всегда имеется в виду нечто большее, нежели равноценный обмен, нечто выходящее за рамки бытийного контракта, и как раз это нечто, эта избыточность вызова в сравнении с договором, этот перехлест, не вписывающийся в эквивалентность причин и следствий, и есть, собственно, эффект соблазна — соблазна игры, соблазна магии. Мы столь живо представляем его себе в контексте любовного обольщения — так почему же в наших отношениях с миром должно быть иначе? Символическая эффективность — не пустой звук. Она отражает иной способ обращения вещей и знаков, по своей действенности и силе превосходящий способ обращения экономический. Гипнотизм баснословного выигрыша в игре питается не столько притягательностью денег, сколько тем, что по ту сторону закона равноценности, по ту сторону контрактного закона обмена вам удастся включиться в эту другую, символическую цепь мгновенного и непомерного перехлеста, в эту цепь *соблазна строя вещей*.

По сути ведь ничто не мешает тому, чтобы и вещи, как и живые существа, можно было соблазнить — стоит лишь отыскать правила игры.

В этом вся проблема случая. Пари магического поединка мало чем отличается от заклада наших азартных игр. Ставка — ценная вещица, которая бросается в лицо случаю, воспринимаемому как некая запредельная инстанция, но вовсе не затем, чтобы снискать его милость, а чтобы отказать ему в его запредельности, его абстрактности, превратить в партнера и соперника. Ставка —

249

требовательное предупреждение, игра — дуэль: случай призывается ответить, связывается закладом игрока, он обязан объявить себя либо благосклонным, либо враждебным. Случай не остается нейтральным, игра преображает его в игрока, в агонистическую фигуру.

То же самое гласит и основополагающая гипотеза игры, а именно: *случая не существует*.

Случай в нашем понимании, т.е. некий алеаторный механизм, чистая вероятность, подчиненная *закону* вероятностей (а не *правилу* игры), этот современный, рационалистической закваски случай (своего рода великая алеаторная нейтральность, образ и итог непостоянной, волнующейся вселенной, обузданной статистической абстракцией, божество, лишившееся божественности, обязательств и очарования), — в сфере игры этот случай вовсе отсутствует. Игра для того и существует, чтобы вызвать случай к жизни. Отрицая господствующий в мире механизм алеаторного распределения, азартная игра стремится к слому всего этого нейтрального порядка и воссозданию в противовес ему ритуального строя обязательств, который объявил бы шах всему миру свободы и эквивалентности. Вот где игра радикально противостоит Закону и экономике. Она всегда подвергает сомнению *реальность* случая как объективного закона, подменяет алеаторику агонистикой и ставит на место этой реальности вселенную обязательств, предпочтений, поединков — вселенную очарования в строгом смысле слова, вселенную соблазна.

250

Отсюда всевозможные связанные с игрой суеверия и манипуляции, которые многим представляются лишь искаженной формой игрового поведения (Кайуа). Колдовские ухищрения игроков — кто-то ставит на цифры, входящие в дату его рождения, кто-то засекает серии (в Монте-Карло одиннадцать выпадало одиннадцать раз кряду) или ловит момент для удвоения ставок, гадая по кроличьему хвосту в кармане пиджака, — все это питается подспудной уверенностью в том, что случая не существует, представлением о мире, опутанном сетями символических взаимосвязей — не алеаторными соединениями, но сетями обязательства, сетями соблазна. Остается лишь задействовать эти механизмы.

Любой ценой игрок стремится защититься от нейтральной вселенной, неотъемлемой составляющей которой является объективный случай. Он делает вид, что в принципе все можно обольстить — цифры, буквы, закон, управляющий их порядком, — *он хочет обольстить сам Закон*. Малейший знак, малейший жест обладает смыслом, но это не подразумевает рациональной последовательности, цепочки знаков, а означает, что любой знак уязвим со стороны прочих, что любой знак может быть обольщен другими знаками, что мир складывается из неумолимых взаимозависимостей, которые, однако, не являются цепями Закона.

Именно в этом "безнравственность" игры. Чаще-то всего безнравственным объявляется другое — стремление выиграть побольше да поскорее. Но в таком случае игра

251

предстает "лучше", чем она есть на самом деле. В действительности игра куда безнравственней. Она безнравственна потому, что подменяет порядок производства порядком обольщения.

Если игра оказывается *предприятием по обольщению случая*, отслеживающим эти обязательные сцепления знаков друг с другом, отличающиеся как от причинно-следственных цепочек, так и от алеаторных серийных последовательностей, если игра стремится упразднить объективную нейтральность и статистическую "свободу" случая, схватывая его в форме поединка, вызова и регламентированного вздувания ставок, тогда бессмысленно пытаться представить себе, как делает это Делёз в "Логике смысла", некую "идеальную ифу", которая состояла бы в полном высвобождении случая из любых взаимосвязей, в наращивании индетерминации, которая дала бы место одновременной игре всех серий разом, а значит, и радикальному выражению становления и желания.

Нулевая или ничтожно малая вероятность того, что две цепочки когда-либо пересекутся, упраздняет ифу (если ни одна цепочка вовсе не пересекается с какой-либо другой, тогда и случая-то никакого нет). Но и возможность никак не определенного переплетения цепочек в любой момент времени тоже ее упраздняет. Потому что игра начинается только с пересечения двух или нескольких цепочек в пространстве-времени, описан-

252

ном правилом, — самый случаи возникает лишь при наличии такого правила, причем правило вовсе не означает ограничения свободы по сравнению с "тотальным" случаем, но есть не что иное, как способ проявления игры.

Нас уверяют, что где "больше" случая, там и игры больше. Но это означает представлять себе то и другое как "свободу" нанизывания знаковых цепочек, имманентный дрейф, "отвязность", перманентное расторжение порядков и последовательностей, нерегламентированную импровизацию желания — как род даймона или злого духа, который дует, где хочет, — вдувая то малость случая, то лошадиную дозу становления, противостоящего регламентированной экономии мира.

Но ведь это нелепо: становления не может быть больше или меньше. Не может быть ни дозы становления, ни сверхдозы. Мир либо включен в цикл становления и тогда уж остается в нем каждую секунду, либо нет. Как бы то ни было, нет никакого смысла "принимать сторону" становления — или случая, если уж на то пошло, или желания, коль скоро оно существует как таковое: выбирать тут вообще не приходится. "Принимать сторону первичных процессов — это все еще эффект процессов вторичных" (Лиотар).

Сама идея какого-то ускорения, усиления, наращивания ифы и случая, словно речь идет о концентрации кислоты в химическом растворе, идея экспоненциального роста становления означает не что иное, как пре-

253

вращение их благодаря путанице с понятием желания в простую функцию энергии. Но случай к этому не сводится — быть может, следует даже признать, как это втайне делает для себя игрок, что случая вообще нет. По сути, многие культуры вовсе не знают термина или понятия случая, потому что для них просто не существует ничего случайного, а значит, никакая алеаторика и не учитывается, *даже при расчете вероятностей*. Лишь в недрах нашей культуры могла родиться эта возможность принять в качестве ответа индетерминацию и объективное беспорядочное блуждание феноменов — статистический, неорганический, объективистский ответ, нерешительный и *безжизненный*. Если хорошенько подумать, то вся эта гипотеза алеаторной случайности вселенной, не связанной абсолютно никакими обязательствами, начисто лишенной всякого формального или символического правила, эта гипотеза молекулярного *объективного беспорядка* вещей — именно та, что так идеализируется и превозносится в молекулярном видении желания, — полный бред. Едва ли она менее безумна, чем гипотеза *объективного порядка* вещей и причинно-следственных цепочек, составившая весенние деньки нашего классического рассудка. Впрочем, одна органично вытекает из другой по логике остатков, иначе говоря отходов.

Случай впервые увидел свет в качестве остатка логического строя детерминации. Даже будучи гипостазирован в качестве революционной переменной, он тем не менее остается зеркальным отражением принципа при-

чинности. Его обобщение, его безусловное "освобождение" (например, в делёзовской идеальной игре) — неотъемлемые элементы той политической и мистической экономики остатков, которая действует ныне повсюду и проводит главным образом структурную инверсию слабых терминов в термины сильные: некогда непристойный и ничего не значащий, случай, похоже, воскрешается во всей своей незначительности и становится отныне лозунгом номадической экономики желания.

Игра — не становление, она не принадлежит к строю желания и к кочевничеству отношения не имеет. Характеризуется она, даже если речь об азартной игре, игре случая, способностью воспроизводить в одних и тех же терминах и неопределенное количество разданную произвольную констелляцию. Циклическая и возобновляемая — такова присущая ей форма. Именно в силу этого она, и только она одна, способна решительно покончить с причинностью и принципом причинности — но конец им приносит не вторжение алеаторного строя серий, составляющего все еще только разрыв причинности, ее редукторное дробление на разрозненные фрагменты, а не ее преодоление: конец причинности связан с виртуальностью возвращения (вечного, если угодно) некоторой условной и регламентированной ситуации.

Не срок исполнения желания и его "свободы", не срок естественного становления (гераклитовская игра

255

мира — детская игра), но вечное возвращение особой ритуальной формы, в качестве таковой и задуманной. Каждый эпизод игры избавляет нас, таким образом, от линейности жизни и смерти.

Есть две фигуры вечного возвращения. Одна, статистическая и нейтральная, плоская и объективная, не допускает в рамках конечной системы бесконечного количества комбинаций, пусть даже бесчисленных, и предполагает, что в один прекрасный день вероятность, проделав гигантский цикл, вернет-таки прежние серии в прежнем порядке. Нищета метафизики: это вечное возвращение *естественного* и в соответствии с естественной же статистической причинностью. Другое видение трагическое и ритуальное: оно подразумевает преднамеренную, как в игре, возобновляемость произвольной — не обусловленной причинностью — конфигурации знаков, каждый из которых предполагает последующий, неумолимо, как при разворачивании церемониала. Здесь речь идет о вечном возвращении правила, т.е. обязательной последовательности ходов и закладов, причем неважно, что это правило игры самой вселенной: никакая метафизика не вырисовывается больше на горизонте неопределенно и бесконечно обратимого игрового цикла, уж точно не метафизика желания, которая еще зависит от природного миропорядка — или природного беспорядка мира.

Желание, конечно, *Закон* вселенной, но вечное возвращение — ее *правило*. К счастью для нас, ведь иначе где было бы удовольствие от игры?

256

Подлинное, идеальное умопомрачение — бросок костей, что в результате "упраздняет случай", когда, к примеру, вопреки всякому вероятною зеро выпадает несколько раз кряду. Экстаз зациклившегося случая, пленника одной и той же окончательно решенной серии — таков идеальный фантазм игры: видеть, как под выпадами вызова вновь и вновь выпадает все то же, раз за разом повторяясь и упраздняя разом и случай, и закон. Весь свет играет в ожидании как раз такого символического перехлеста — события, *которое выпадает из алеаторного процесса, но при этом не подпадает сразу же под действие объективного закона.* Каждый бросок, каждый ход по-своему кружит голову, мутит разум, но все остается в рамках до этого момента перехлеста судьбы, знаменующего, что она и впрямь захвачена игрой, — до момента, когда сама судьба, кажется, бросает вызов естественному порядку вещей и впадает то ли в безумие, то ли в ритуальное умопомешательство: вот тогда-то и срываются с цепей страсти, а умами завладевает подлинно смертельная завороченность.

И все это не игра воображения — воображение тут вообще ни при чем, здесь сказывается лишь властная необходимость положить конец естественной игре различий и вместе с тем историческому становлению закона. Нет более величественного момента. Нет иного ответа на естественные надбавки желания, кроме ритуального перехлеста игры и соблазна, нет иного ответа на контрактные надбавки закона, кроме перехлеста и фор-

257

мального умопомрачения правила. Кристально чистая страсть, страсть, не знающая себе равных.

Игра не относится к фантазматическому строю, ее возобновляемость и повторяемость фантазма — разные вещи. Повторяемость фантазма исходит из "другой сцены", и это фигура смерти. Возобновляемость игры исходит из правила, и это фигура соблазна и удовольствия. Аффект или представление — любая повторяемая фигура смысла есть фигура смерти. Удовольствие высвобождает лишь эта бессмысленная возобновляемость, которая идет не от сознательного строя и не от бессознательного расстройства, но представляет собой реверсию и реитерацию какой-то чистой формы, принимая вид внезапного взлета ставок и вызова закону содержаний и их накопления.

В таком случае рекуррентность игры исходит непосредственно от судьбы — она наличествует как судьба. Не как влечение смерти или кривая процентных ставок различия, устремленная вниз, к энтропическим сумеркам систем смысла, но как форма ритуальной инкантации, церемониала, в котором знаки, воздействуя друг на друга с неумолимой, насильственной притягательностью, не оставляют больше места смыслу и могут лишь до бесконечности дублировать друг друга. Тут та же умопомрачительность *соблазна*, полного поглощения возобновляемой судьбой: всем прочим обществам, кроме на-

258

шего, знакомо это зрелище ритуала — это зрелище жестокости. И в игре есть кое-что от этой жестокости. Реальность рядом с нею кажется просто сентиментальной. В сравнении с этими чистыми формами повторения все сентиментально — истина, даже Закон.

Закону противостоит не свобода, но правило; так же и *причинности противостоит не индетерминация, но обязательство* — не линейное сцепление и не какое-то там расцепление (романтический бред сошедшей с катушек причинности), но *обратимое сцепление*, которое, неумолимо захватывая один знак за другим, свершает свой цикл (вспомним обмен браслетами и ракушками у полинезийцев), обходя стороной начало и опуская конец. Цикл обязательств — не код. Мы смешиваем обязательство в строгом, ритуальном, незапамятном смысле слова, который оно имеет в циклическом коловращении людей и вещей, с обезличенным принуждением законов и кодов, правящих нами под обратным знаком свободы.

В чистом номадическом случае Делёза, в его "идеальной игре" налицо лишь полная диссоциация и лопнувшая причинность. Но не слишком ли большая натяжка — отсекай игру от ее правила с целью выделить некую радикальную, утопическую форму игры? С той же натяжкой, или с той же легкостью, случай отсекается от того, что его определяет, — от объективного вычисления серий и вероятностей, становясь лейтмотивом идеальной индетерминации, идеального желания, образованного бесконечной случайностью неисчислимых се-

рий. Почему же тогда останавливаться на сериях? Почему не заменить их броуновым движением в чистом виде? А дело в том, что броуново движение, давно уже ставшее как бы физической моделью радикального желания, имеет свои законы, и это не игра.

Экстраполировать случай во все стороны под видом "идеальной игры", не обобщая одновременно правила игры, — это ведь такая же точно фантазия, как и радикализовать желание путем изгнания из него всякой нехватки и всякого закона. Объективный идеализм "идеальной игры" — и субъективный идеализм желания.

Игра — система без противоречий, без внутренней негативности. Поэтому ее трудно высмеять. Игру невозможно спародировать, потому что вся ее организация пародийна. Правило играет роль пародийного симулякра закона. Не инверсия и не подрыв, но симулятивная реверсия закона. Игровое удовольствие двойственно: с одной стороны, в игре исчезают время и пространство, уступая место зачарованной сфере неразрушимой формы взаимности — соблазн в чистом виде; с другой — разыгрывается пародия на реальность, происходит формальная эскалация требований закона.

Подчиниться, со всей непреклонностью добродетели, данностям случая и нелепости правила — возможна ли лучшая пародия на этику ценности? Возможна ли лучшая пародия на ценности труда, производства, эко-

260

номии, расчета, чем понятия заклада и вызова, чем безнравственность фантастической неравноценности ставки и возможного выигрыша (или проигрыша, столь же безнравственного)? Есть ли лучшая пародия на понятия договора и обмена, чем этот магический сговор, эта затея по агонистическому обольщению случая и партнеров, эта форма дуального обязательства в отношении к правилу? Возможно ли лучшее опровержение всех наших моральных и социальных ценностей — воли, ответственности, равенства и справедливости, — чем эта экзальтация счастливого и злополучного, чем это ликование от игры на равных с судьбой, не знающей и не требующей никаких оправданий? Существует ли лучшая пародия на все наши идеологии свободы, чем эта страсть правила?

И возможна ли лучшая пародия на самую социальность, чем та неотвратимая логика предначертанности и симуляции социального в игре, о которой повествует рассказчик новеллы Борхеса "Лотерея в Вавилоне"?

"Я уроженец умопомрачительной страны, где лотерея стала существенным элементом реальности", — так начинается рассказ об обществе, в котором лотерея поглотила все прочие институты. Первоначально то была не более чем плебейская по характеру игра, в которую можно было лишь выиграть. Скоро она наскучила, так как "не была обращена ко всей гамме душевных способ-

261

ностей человека, только к надежде". Тогда игру попытались реформировать: в список счастливых номеров внесли небольшое количество несчастливых, и невезучему жребий присуждал уплату значительного штрафа. Именно это новшество радикально изменило ситуацию, поскольку развеяло иллюзию экономической целесообразности игры. Отныне игра явилась в чистом своем виде, и умопомрачение, завладевшее вавилонским обществом, не знало более границ. Теперь по жребию могло выпасть все что угодно, лотерея сделалась тайной, бесплатной и всеобщей, всякий свободный человек автоматически становился участником священных жеребьевок, совершавшихся каждые шестьдесят ночей и определявших судьбу его вплоть до следующего розыгрыша. Счастливый розыгрыш мог сделать его богачом, магом, даровать обладание желанной женщиной, несчастливый мог накликал на него увечье или смерть.

Короче, интерполяция случая во все щели социального строя и миропорядка. Все ошибки лотереи — "правильны", поскольку лишь укрепляют логику случая. Обман, подделки, уловки, махинации — все это прекрасно интегрируется в алеаторную систему: кто сумеет определить, "реальны" ли эти вещи, исходят ли, иными словами, от естественного и рационального соединения некоторых причин, или же исток их — алеаторная инстанция лотереи? Теперь уже никто. Все облекается предначертанностью, *эффект лотереи* универсален, Лотерея и Компания спокойно могут прекратить свое

262

существование, их действенность молчаливо пронизывает пространство *тотальной симуляции*: вся "реальность" с потрохами включена в тайные решения Компании, и больше нет и не может быть никакого различия между реальной реальностью и реальностью случайной, алеаторной.

В конце концов Компания вообще могла бы никогда не существовать, миропорядок от этого не изменился бы. Гипотеза о ее существовании — вот что все меняет. Одной этой гипотезы достаточно, чтобы всю реальность, какова она есть и каковой всегда и неизменно была, превратить в гигантский симулякр. Реальность, какой симуляция меняет ее внутри нее самой, есть не что иное, как реальность.

Для нас и для наших "реалистических" обществ Компания как бы давно уже прекратила свое существование, и на руинах, на забвении этой тотальной симуляции, целого витка симуляции, *предваряющей реальность*, но более нами не осознаваемой, — вот где выстраивается наше подлинное бессознательное: непризнание симуляции и умопомрачительной неопределенности, управляющей священным беспорядком наших жизней, — не вытеснение аффектов и представлений, каким рисуется бессознательное нашему опошленному видению, но слепота к Большой Игре, к тому факту, что все "реальные" события, все наши "реальные" судьбы уже предвосхищены — но не в какой-то там прошлой жизни (хотя эта гипотеза сама по себе красивее и богаче всей нашей ме-

263

тафизики объективных причин), а в цикле неопределенности, в цикле управляемой и одновременно произвольной игры, чьим символическим воплощением и служит Лотерея Борхеса, — именно это предвосхищение сообщает "реальным" событиям и судьбам то невероятное, галлюцинаторное сходство с самими собой, которое мы принимаем за их истину. От нас ускользает эта логика: наше сознание реальности основывается на неосознанности симуляции.

Вспомним Лотерею в Вавилоне. Существует она или нет — в любом случае покров неопределенности, брошенный ею на наши жизни, неизбытен. Произвольные веления ее регламентируют мельчайшие детали нашего существования, но речь не идет о каком-то скрытом до поры базисе, поскольку таковой призван однажды явиться на свет истиной, — речь здесь о судьбе, иначе говоря об игре, с самого начала уже осуществленной и вплоть до самого конца непроницаемой.

Оригинальность Борхеса — в распространении этой игры на весь социальный строй. Если нам игра видится всего лишь надстройкой, не слишком весомой в сравнении с надежным базисом, добротной инфраструктурой социальных отношений, то он переворачивает все здание с ног на голову и неопределенность делает определяющей инстанцией. Отныне социальная структура и участь индивидов определяются уже не экономическими соображениями (труд, история), не "научным" детерминизмом товарообмена, но тотальным индетерминиз-

264

мом — индетерминизмом Игры и Случая. Предопределение совмещается здесь с абсолютной подвижностью, произвольность системы — с самой радикальной демократией (мгновенный обмен и передел всех судеб: есть чем насытить современную жажду поливалентности).

Потрясающая ирония этого переворота захватывает любой возможный договор, любое разумное основание социального. Пакт о правиле, о произвольности правила (Лотерея) устраняет социальное, каким мы его знаем, так же как ритуал кладет предел закону. С разного рода тайными обществами дела, собственно, всегда обстояли именно так: их расцвет следует расценивать как сопротивление социальному.

Ностальгия по социальности пактовой, ритуальной, алеаторной, ностальгическое стремление избавиться от всех этих контрактов и социальных отношений, ностальгия по более жестокой, но и настолько же завораживающей судьбе-жребию — эта ностальгия заложена в нас глубже, чем рациональная потребность в социальном, которой нас пичкали с пеленок. Новелла Борхеса, возможно, не вымысел, но верное описание грез нашего прошлого — грез о нашем будущем.

В Византии социальная жизнь, политический строй, иерархии и расходы — все подчинялось Ипподрому. У нас, правда, тоже есть скачки, но это лишь бледное отражение византийских ристаний в зеркале демократии. Огромная денежная масса, которая обращается на бегах, переходя из рук в руки в результате заключаемых пари, —

265

ничто по сравнению с экстравагантностью византийцев, привязывавших к конским состязаниям весь комплекс общественной жизни. Но это еще симптом игры как реестра разносторонней социальной деятельности и интенсивного обращения имущества и рангов. В Бразилии мы находим Jogo de Vicho: игры, пари, лотереи затягивают целые категории людей, ставящих на кон и состояние свое, и положение. Можно, конечно, усмотреть в игре простое средство отвлечься от проблем слабо развитого общества, но мы никуда не денемся от того, что даже в своем жалком современном обличье игра остается отзвуком культур, в которых игровое и расточительское вообще были генераторами структуры и сущностных модальностей обмена, — такой, стало быть, схемы, которая прямо противоположна нашей собственной и в особенности марксистской. Слаборазвитые, говорите? Только привилегированные собственники общественного договора и общественных отношений могут вот этак, с высоты своего положения — тоже, впрочем, не более как симулякра, притом не подлежащего обмену на валюту судьбы, — выказывать презрение к алеаторным обычаям, которые наделе принадлежат высшему порядку. Потому что они вызов не только случаю, но и социальному вообще: вызов и признак ностальгии по более рискованному миропорядку и более рискованной игре стоимости.

Дуальное, полярное, дигитальное

Лотерея, конечно, симулякр — можно ли вообразить большую искусственность, чем соотносить ход вещей с неверными велениями случая? Но не будем забывать, что именно этому была так привержена античность со своим искусством гадания по куриным внутренностям и птичьему полету, и разве не тем же самым, хотя и с меньшими основаниями, продолжает заниматься современное искусство толкования? Все это, правда, симулякр — разница в том, что у Борхеса правило игры всецело подменяет собой закон, игра снова становится судьбой, тогда как в наших обществах она остается легкомысленным, маргинальным развлечением.

На фоне этого грандиозного борхесовского вымысла, этого общества, построенного на велениях случая и своеобразном игровом предначертании, на фоне такого строя жестокости, в котором ставка перманентна, а риск абсолютен, мы сами кажемся обывателями общества минимальных ставок и минимального риска. Если бы термины не противоречили друг другу, следовало бы сказать, что судьбой нашей стала безопасность — не исключено, впрочем, что для всего общества в целом исход может быть смертелен: таков рок слишком охраняемых видов, погибающих в неволе от избытка безопасности.

Ведь не просто так вавилоняне отдались умопомрачению лотереи: что-то задело их за живое, что-то *соблаз-*

267

нило их к этому — предоставив случай бросить вызов всему, что того заслуживало: своей собственной жизни, своей собственной смерти. А какой соблазн в нашем социальном — есть ли что менее соблазнительное, чем сама идея социального? Это нулевая ступень соблазна. Даже Богу не случалось пасть столь низко.

В сравнении со ставкой соблазна и смерти, наполняющей вселенную игры и ритуальности, наша собственная социальность вместе с учреждаемым ею способом коммуникации и обмена предстает предельно мелкой и пошлой, абстрактной и мельчающей все более по мере своей секуляризации под знаком Закона.

Но это к тому же всего только промежуточное состояние, ибо век Закона уже минул, а с ним канули в небытие и *socius*, и сила общественного договора. Мы оставили позади не только эру правила и ритуала — мы распрощались также с эрой Закона и договора. Жизнь наша облекается Нормой и Моделями, а у нас нет даже слова, чтобы обозначить то, что не сегодня-завтра наследует в наших глазах социальности и социальному.

| | | |
|--------------|--------------|------------------|
| ПРАВИЛО | ЗАКОН | НОРМА |
| Ритуальность | Социальность | <u>?????????</u> |

Минимум реальности и максимум симуляции — вот чем отныне мы будем довольствоваться в своей жизни. Симуляция порождает нейтрализацию полюсов, упорядочивавших перспективное пространство реальности и

268

Закона, исчезновение потенциальной энергии, оживлявшей еще пространство Закона и социального. Эра моделей означает политику устрашения-сдерживания антагонистических стратегий, обращавших в ставку социальное и Закон — включая его трансгрессию. Больше никакой трансгрессии, никакой трансцендентности — но в результате мы не возвращаемся к трагической имманентности правила и игры, мы погружаемся в холодную имманентность нормы и моделей. Регулирование, сдерживание, feed-back, цепочки тактических элементов в безреферентном пространстве и т.п., но прежде всего — в эпоху моделей полярность знака замещается дигитальностью сигнала.

ДУАЛЬНОСТЬ ПОЛЯРНОСТЬ ДИГИТАЛЬНОСТЬ

Это три взаимоисключающие логики:

— *дуальное отношение* властвует в игре, ритуале и во всей сфере правила;

— *полярное отношение*, иначе диалектическое или противоречивое, управляет вселенной Закона, социального и смысла;

— *дигитальное отношение* (впрочем, это уже не "отношение" даже, а что-то типа соединения в техническом смысле) заправляет пространством Нормы и Моделей.

В перекрестной игре этих трех логик и нужно отслеживать перипетии понятия соблазна, от его радикаль-

269

ного признания (дуального, ритуального, агонистического, с максимальными ставками) до его смягченной версии, соблазнительного эмбиента и игровой эротизации вселенной, не знающей ни риска, ни ставок.

Игровое и холодный соблазн

Ибо мы живем соблазном,
но умрем замороженные.

Игра моделей, их подвижная комбинаторика характеризуют игровую вселенную, где все приобретает эффект возможной симуляции и где все — за неимением Бога, чтобы познать своих, — способно сыграть роль альтернативной, переменной очевидности. Игра подрывных ценностей продолжается, но перемежается полупериодами: насилие и критика тоже моделируются. Наша вселенная податлива, гибка, и в ней нет больше линий перспективы. Когда-то соответствие предмета его употреблению, функции — учреждению, всех вообще вещей — их объективной детерминации определяло принцип реальности; сегодня совпадение желания с моделью (запроса с его предвосхищением в симулируемых ответах) определяет принцип удовольствия.

Игровое вообще — это "игра" запроса и модели. И поскольку запрос — лишь реакция на навязчивость модели, а прецессия моделей абсолютна, никакой вызов здесь

271

невозможен. Такова игровая стратегия, управляющая всеобщностью наших обменов. Ее отличительная черта — возможность предвидения всех ходов противника и упреждающего их сдерживания, так что ставка вообще делается невозможной. Она-то и сообщает миру игровой характер — миру, парадоксально лишенному ставок.

"Werbung", зазывность рекламы, рекламная назойливость — характерная черта всевозможных опросов, любых медийных и политических моделей, которые больше не подают себя как нечто внушающее доверие, но лишь как правдоподобие: они не прикидываются больше облеченными (чем бы то ни было), но лишь сообщают о своей выборочной доступности в таком-то диапазоне — включая сюда и досуг, который после труда служит чем-то вроде второй программы на экране времени (долго ли ждать третьей и четвертой?). Вообще, живое воплощение игрового — американское восьмидесятитрехканальное телевидение: здесь только и остается, что играть, переключать каналы, микшировать программы, создавать свой собственный монтаж (распространение телевизионных игр — лишь отзвук в плане содержания этого игрового использования ТВ). И как и всякая комбинаторика, игра эта завораживает. Не чарует, не соблазняет: сфера соблазна осталась позади — начинается эра замороженности.

Ясно, что игровое означает не только и не столько развлекательное, иначе дальше детективов мы бы никуда не двинулись. В целом, игровое коннотирует сам спо-

272

соб функционирования сетей, их способ инвестирования и воздействия на пользователей. Оно обнимает все возможности "ведения игры" с сетями, которые, очевидно, являют собой не альтернативу, но виртуальность оптимального функционирования.

Мы познали уже унижение игры до статуса функции. Функциональная деградация игры: игра-терапия, игра-обучение, игра-катарсис, игра-творчество. В психологии детства, в социальной и личностной педагогике — везде игра понимается как "жизненная функция", как необходимая ступень развития. А то еще, привитая к принципу удовольствия, игра провозглашается революционной альтернативой: вспомним диалектическое преодоление принципа реальности у Маркузе, вспомним всевозможные идеологии игры и праздника. Но — игра как трансгрессия, спонтанность, эстетическая самопроизвольность — все это лишь сублимированная форма прежней руководящей педагогики, которая неизменно наделяет игру смыслом, сообщает ей целесообразность, а значит, выхолащивает присущую ей силу соблазна. Игра как сновидение, спорт, отдых, труд, как объект перенесения — всего лишь гигиеническая функция, необходимая для поддержания биологического и психологического равновесия, для правильного развития и регулирования системы. Нечто прямо противоположное мерочной страсти и страстному наваждению игры.

Между тем все это еще только попытка *функционального* подчинения игры той или иной форме закона сто-

273

имости. Куда серьезней *кибернетическое* поглощение и растворение игры во всеобщей категории игрового.

Показательна эволюция игр: сначала командные, состязательные игры, традиционные карточные, потом еще настольный футбол, затем бурно разросшееся поколение игровых аппаратов (уже экран, но еще не "теле", смесь электроники с жестом) — сегодня их уже вытеснили электронный теннис и другие компьютерные игры — экраны, изборожденные стремительно несущимися молекулами, атомистические манипуляции, которые ничем не отличаются от информационных приемов контроля в "процессе труда" и предвосхищают грядущее использование компьютера в домашней сфере, где уже прочно обосновались теле- и аудиовизуальные устройства: игровое везде и повсюду — оно определяет даже "выбор" марки стирального порошка в супермаркете. Отсюда плавный переход к сфере лекарственных и психотропных средств — еще одна игровая сфера, поскольку и здесь все то же самое: набор команд на сенсорной клавиатуре, манипуляции с нейронной панелью управления. Электронные игры — мягкий наркотик, они потребляются точно так же, сопровождаясь таким же сомнамбулическим абсансом и такой же тактильной эйфорией. Но ничто не служит живым существам лучшим пультом управления, чем генетический код — именно там разыгрываются всевозможные комбинации и бес

274

конечно малые вариации их "судьбы": судьбы "теле"о-номической, развертывающейся на молекулярном экране кода. Много чего следовало бы сказать об объективности этого генетического кода, который служит "биологическим" прототипом для всей окружающей нас вселенной — комбинаторной, алеаторной, игровой. Ведь что такое "биология"? Какую истину она в себе скрывает? Или, может, она скрывает в себе *только* истину, иначе говоря судьбу, преображенную в приборный щиток? За этим нашим экраном, управляемым сигналом с биологического дистанционного пульта, не остается уже места ни игре, ни иллюзии, ни ставке, ни розыгрышу: остается только модулировать сигнал, обыгрывать его, как обыгрывают звучание и тембр стереофонического канала.

Впрочем, это лишь еще один хороший пример из "игровой" сферы. В манипуляциях с каналами нетуже никакой музыкальной ставки — одна только технологическая ставка на достижение оптимальной модуляции стереоклавиатуры. Магия консоли и панели управления:

медийная манипуляция превыше всего.

Как насчет партии в шахматы на компьютере? Где напряжение, связанное с шахматами, где связанное с компьютером удовольствие? Одно принадлежит к строю игры, другое — к строю игрового. То же самое можно сказать и о футбольном матче, транслируемом по телевизору. Не верьте, что это один и тот же матч: один hot, другой cool, один — игра, включающая в себя аффект,

275

вызов, интригу, другой — нечто тактильное и модулируемое (обратные кадры, замедленные повторы, общий вид и крупные планы, углы зрения и т.п.). Телевизионный матч — это прежде всего телевизионное событие — совсем как *холокост* или война во Вьетнаме, от которых он в этом плане ничем не отличается. Успех цветного телевидения в США, запоздалый и трудный, датируется тем днем, когда одна крупная компания использовала идею внедрить цвет в программу новостей: как раз показывали войну во Вьетнаме, и последующие опросы засвидетельствовали, что "игра" цветов и техническое совершенство, обеспечившее это нововведение, позволили зрителям легче переносить картины войны. "Больше" истины создало эффект игрового дистанцирования от события.

Холокост.

Евреев снова загоняют — но уже не в печи крематориев, не в газовые камеры, а на фонограммы и видеопленки, в электронно-лучевые трубки и микропроцессоры. Тем самым забвение, уничтожение обретает наконец свое эстетическое измерение — оно завершается в ретроспекции, в конечном счете поднятое до массового уровня. Телевидение: действительно "окончательное решение" события.

Срез исторического измерения, оставшийся еще в забвении — в форме виновности, недосказанности, —

более не существует, потому что теперь "весь мир знает", весь мир содрогнулся перед этим истреблением — верный знак, что "оно" никогда больше не произойдет. И то, что изгоняется подобным образом, с минимальными издержками и пролитием пары-тройки слезинок, действительно не произойдет больше в будущем — потому что происходит в настоящий момент, сейчас, причем в той самой форме, в какой оно якобы изобличается, в самом "средстве" этого мнимого экзорцизма — телевидении. Это такой же точно процесс забвения, ликвидации, экстерминации, такое же уничтожение людской памяти и истории, такое же обращенное вспять излучение, такое же полное звукопоглощение, такая же черная дыра, как Освенцим. А нас-то хотели заставить поверить, будто ТВ погасит ипотеку Освенцима, что в лучах голубого экрана снизойдет на нас некое коллективное осознание — на деле же речь идет об увековечении этой задолженности в иных формах, на сей раз под знаком уже не *места* уничтожения, но *средства* устрашения.

Холокост в первую очередь (и исключительно) *телевизионное* событие (фундаментальное правило Маклюэна, о котором не следует забывать), речь идет о попытке разогреть *холодное* историческое событие, трагическое, но холодное, первое большое событие холодных систем, систем охлаждения, устрашения и экстерминации, которые вскоре развернутся и в иных формах (включая холодную войну и т.д.), затрагивающее холод -

277

ные массы (евреи, которых уже не трогает собственная смерть, которые сами, в конечном счете, управляют процессом, массы, которые ничему больше не возмущаются: уstraшенные до смерти, уstraшенные самой смертью и в самой смерти своей), разогреть это холодное событие холодным же средством, телевидением, сделать это для масс, которые и сами настолько же холодны, которые, быть может, и разродятся по этому поводу какой-нибудь мертворожденной эмоцией, ошутят некое тактильное содрогание — тоже, однако, уstraшающее, после которого с чистой совестью и полным эстетическим сознанием свершившейся катастрофы снова смогут впасть в забвение.

Для разогрева всей этой махины не показалась чрезмерной обстоятельная политико-педагогическая рекламная подготовка, в ходе которой событию (телевизионному) пытались придать некий смысл. Панический шантаж последствиями такой передачи для детского воображения. Всеобщая мобилизация социальных работников для отцеживания материала — точно в этой искусственной реанимации таилась опасность распространения заразы! Опасность-то была прямо противоположной: холодного — холодному, социальная инерция холодных систем. Потому и нужно было, чтобы все мобилизовались — ради воссоздания социального, горячего социального, коммуникации, из хладного монстра экстерминации. Именно этим хороша была передача — попыткой уловить искусственное тепло мертво-

278

го события для разогрева мертвого тела социального. Отсюда приправа добавочных медиа, раздувание эффекта обратной связью: экспресс-опросы, утверждающие массовость воздействия передачи, коллективный импакт ее послания — и это при том, что все эти опросы, понятное дело, удостоверяют только одно: телевизионный успех самого средства массовой информации.

Нам следует говорить о холодном свете телевидения, почему оно и безвредно для воображения (в том числе детского) — оно не несет в себе ничего воображаемого, по той простой причине, что *это уже не образ*. Противопоставлять его кино, в котором воображаемое все еще сильно (хотя и слабеет все более по мере заражения кино телевидением), — потому что это образ. Иначе говоря, не просто экран плюс визуальная форма, но и какой-то *миф*, нечто такое, что не утратило еще связи с такими вещами, как двойничество, фантазм, зеркало, сновидение и т.п. Ничего этого нет в "телеобразе" — картинке, которая ничего не подсказывает, ни на что не намекает, которая магнетизирует, которая сама не более чем экран, даже хуже: миниатюрный терминал, который фактически находится непосредственно у вас в голове — вы сами экран, а телевизор вас смотрит, — оснащает там транзисторами нейроны и прокручивается как магнитная пленка — пленка, не образ.

279

Все это принадлежит к строю игрового, а игровое есть место, где властвует *холодный соблазн* — "нарциссическое" обаяние электронных и информационных систем, холодное обаяние средств и терминалов, в которые все мы превратились, обособленные в манипуляторном самособлазне этих консолей, которые окружают нас со всех сторон.

Возможность модуляций в недифференцированной вселенной, "игры" подвижных, текучих агрегатов, конечно, не лишена завораживающего очарования — очень даже вероятно, что игровое и либидинальное где-то уживаются, кружа вокруг неких алеаторных систем, вокруг желания, которое уже не *вламывается* в сферу закона, но *преломляется* во вселенной, закона не ведающей. *Такое* желание тоже относится к строю игрового и подвижной топологии этих систем. Это своего рода *премиальное удовольствие* (и в то же время премиальная тревога), предоставляемое каждой из подвижных частиц сетей. Каждому из нас дано испытать подобное легкое психоделическое головокружение от всех этих бесконечно ветвящихся переходов, то множественных, то последовательных, от этих подключений и отбоев. Каждому из нас предлагается стать миниатюрной "игровой системой" — микросистемой, пригодной для игры, т.е. для саморегулирующейся возможности алеаторного функционирования.

Таково современное значение игры — "игровое" значение, коннотирующее гибкость и поливалентность але-

280

аторных комбинаций: на возможности "игры" в этом смысле покоится метастабильность систем. Ничего общего с пониманием игры как дуального и агонистического отношения: холодный соблазн правит всей сферой информации и коммуникации, и в этом холодном соблазне исчерпывается сегодня все социальное вместе со своей сценической постановкой.

Гигантский процесс симуляции, который нам так хорошо знаком. Ненаправленное интервьюирование, телефоны доверия, всестороннее соучастие и сопричастность, шантаж под лозунгом "Вас это касается, вы событие, вы большинство". И давай опрашивать, давай прощупывать по кругу мнения, сердца, бессознательные — чтоб показать, как говорит "оно". Все поле информации заполнено такого рода фантомным содержанием, гомеопатической трансплантацией, несбыточной грезой коммуникации. Круговое взаимодействие, инсценирующее "желание зала", интегральная схема-контур перманентного "опроса портов". Колоссальные энергии задействуются, чтобы удержать в вытянутой руке этот симулякр, чтобы избежать brutальной десимуляции, которая обрушилась бы на нас при столкновении с очевидной реальностью радикальной утраты смысла.

Соблазн/симулякр: коммуникация вместе с социальным функционируют таким образом в замкнутом контуре, знаками удваивая необнаружимую реальность. Общественный же договор стал пактом симуляции, скрепленным медиа и информацией. Никто, впрочем,

281

особо на этот счет не заблуждается: информация переживается как своего рода эмбиент, сервис, голограмма социального. И что-то вроде обратной симуляции отвечает в массах на эту симуляцию смысла: охлаждением ответили на это сдерживание, загадочной верой — на этот обман. Все циркулирует и может выдать эффект операционного соблазна. Но соблазн здесь имеет не больше смысла, чем все остальное: сам термин всего лишь коннотирует игровую склейку с симулируемой информацией и тактильную содержательность моделей.

Телефатическое.

"Это Роджерс. Жду тебя около пяти. Слышишь меня? — Да-да, слышу. — Встретимся, поговорим. — Ага, поговорим". Такова бесконечная литания сетей, особенно пиратских и альтернативных. Здесь играют в то, будто говорят друг с другом, слушают друг друга, общаются, здесь разыгрываются самые тонкие механизмы постановки коммуникации. Фатическая функция, функция контакта, речь, выдерживающая формальное измерение речи: эта отдельно взятая функция, впервые описанная Малиновским на меланезийском материале и занесенная позже Якобсоном в его таблицу языковых функций, до предела гипертрофируется в сетевом телеизмерении. Контакт ради контакта становится родом пустого самособлазна языка, когда ему уже просто нечего сказать.

282

Такой самособлазн присущ именно нашей культуре. Ведь Малиновский описал нечто совсем иное: символическое пререкание, языковую дуэль — всеми этими сказками, ритуальными изречениями, бессодержательными разглагольствованиями туземцы бросают друг другу вызов, подносят друг другу в дар нечто вроде чистого церемониала. Языку тут нет никакой нужды в "контакте": это *мы* нуждаемся в функции "контакта", в специфической функции коммуникации, именно потому, что она от нас ускользает — так и следует понимать выделение в современную эпоху Якобсоном в его анализе языка особой функции "контакта", тогда как в иных культурах она не имеет ни смысла, ни какого-либо специального обозначения. Таблица Якобсона, его аксиоматика коммуникации и сообщения современны такому излому языковой судьбы, когда вообще перестает сообщаться что-либо. Отсюда настоятельная необходимость аналитически восстановить функциональную возможность языка и в особенности эту самую "фатическую" функцию, которая по всей логике кажется не более чем трюизмом. В самом деле, о чем тут рассуждать: раз оно говорится, значит, говорится. Оказывается, есть о чем, и "фатическое" являет собой симптом необходимости все время "подавать" контакта, замыкать цепь, говорить, говорить и говорить просто ради того, чтобы сделать язык возможным. Отчаянная ситуация, в которой простой контакт кажется чудом.

В сетях (т.е. во всякой нашей медийно-информаци-

онной системе коммуникации) фатическое гипертрофируется, и дело тут, наверное, в том, что теледистанция в буквальном смысле скрадывает смысл любого слова. Поэтому "разговор" на деле оказывается лишь проверкой связи и подключения к сети. И даже никого другого нет на линии, на "другом конце" провода, потому что в чистом полупериоде сигнала подтверждения нет больше ни передающего, ни принимающего. Есть только пара терминалов, и сигнал, идущий от одного к другому, просто-напросто удостоверяет, что "оно" проходит — т.е. ничего не проходит. Совершенное сдерживание.

Два терминала — не два собеседника. В "телепространстве" (к телевидению это, конечно, тоже относится) нет больше ни *терминов*, ни *детерминированных* позиций. Нет больше ничего, кроме *терминалов* в позиции *экстерминации*. Тут, кстати, ничем не поможет и якобсоновская таблица, применимая лишь к классической конфигурации дискурса и коммуникации. Она бессмысленна в сетевом пространстве, где правит чистая дигитальность. В пространстве дискурса есть еще полярность терминов, четко различимых оппозиций, управляющая явлением смысла. Структура, синтаксис, пространство различия — без этого немислим диалог, — знака (означающее/означаемое) и сообщения (передающий/принимающий), и т.д. Бинарное или дигитальное 0/1 кладет конец различимым оппозициям и упорядоченному различию. Это "бит", мельчайшая единица электронного импульса — *уже не смысловая единица*, но лишь сиг-

284

нальная пульсация. Это уже не язык, это его радикальное сдерживание. Так функционируют сети, такова матрица информации и коммуникации. Нехватка "контакта" здесь, конечно же, жестоко ощущается — ведь отсутствует не только дуальное отношение, свойственное языковому потлачу меланезийцев, нет даже межиндивидуальной логики обмена, присущей классическому языку (которым занимался Якобсон). На смену дуальности, на смену дискурсивной полярности пришла информационная дигитальность. Тотальное самомнение сетей и средств. Холодное самомнение электронного средства и самой массы как средства.

ТЕЛЕ: ничего, кроме терминалов. АВТО: каждый — свой собственный терминал ("теле" и "авто" сами по себе вроде операторов, коммутирующих частиц, которые подключаются к словам, как видео к рабочей группе или телевизор к телезрителям). Группа, подключенная к видео, сама также не более чем собственный терминал. Электронная авторегистрация, авторегулирование, автоменеджмент. Самораспаление, самообольщение. Группа эротизируется и обольщается непосредственным протокольным восприятием самой себя, скоро самоменеджирование, самоуправление станет универсальной работой каждого, каждой группы, каждого терминала. Самообольщение делается нормой каждой заряженной током частицы сетей и систем.

Само тело, телеуправляемое генетическим кодом, уже не более чем свой собственный терминал: подклю-

285

ченное к себе самому, оно только и может, что осуществлять оптимальное самоуправление собственной информационной базой.

Чистое намагничивание: ответа вопросом, реального моделью, нуля единицей, сети ее собственным существованием, говорящих самим фактом их подключения; чистая тактильность сигнала, чистая сила "контакта", чистое сродство одного терминала с другим — таков образ рассеянного, диффузного соблазна во всех нынешних системах — самообольщение/самоуправление, которое лишь отражает замкнутый круг сетей и короткие замыкания каждого из их атомов и частиц (кто-то назовет это нарциссизмом — почему бы и нет? — только разве не абсолютная бессмыслица транспонировать термины вроде нарциссизма и соблазна в регистр уже далеко за рамками их диапазона — в *регистр симуляции?*).

Об этом — "Силикон навывкате" Жана Керсола (*Traverses*, №№ 14/15): психобиологическая технология, все эти информационные протезы и электронные сети авторегулирования, которыми мы располагаем, дают нам род странного биоэлектронного зеркала, куда каждый из нас, точно какой-нибудь цифровой нарцисс, скользит по лезвию влечения смерти и где мы тонем в собственном отражении. Нарцисс/наркоз (сравнение еще маклюэновское):

"Электронный наркоз: вот предельный риск цифровой симуляции... Мы скользнем от Эдипа к Нарциссу... Са-

286

моуправление тел и удовольствий увенчается этим медленным нарциссическим наркозом. Словом, во что силикон превращает принцип реальности? Я не говорю, что оцифровка мира — причина близящегося конца Эдипа: я утверждаю, что развитие биологии и информационных технологий сопровождается распадом структуры личности, именуемой эдиповской. Распад этих структур раскрывает другое место, в котором отсутствует отец: в игру вступает материнское, океаническое чувство, влечение смерти. Это грозит не столько неврозом, сколько психотическим расстройством. Патологический нарциссизм... Известными считаются формы социальной связи, которые строятся на Эдипе. Но что делать власти, когда все это уже не работает? Взамен авторитета — обольщение?"

Лучший пример этого "бионического зеркала", этого "нарциссического некроза" — клонирование, предельная форма самообольщения: от Тожественного к Тожественному в обход Иного.

В Штатах, кажется, вывели уже на свет ребенка черенкованием, словно какую-нибудь герань. Первый ребенок-клон — потомство человеческого индивида, выведенное растительным путем размножения. Первый ребенок, родившийся из одной-единственной клетки своего "отца", уникального родителя, точной репликой, совершенным близнецом, двойником которого ему суждено стать (Д.Рорвик. "По его образу и подобию: копия человека"). Бесконечное черенкование людей: каждая

287

клетка индивидуального организма может стать матрицей идентичного человеческого индивида.

"Моя генетическая вотчина была раз и навсегда определена встречей некоторого сперматозоида с некоторой яйцеклеткой. Вотчина эта содержит рецепт всех биохимических процессов, которые привели к моему появлению и которые обеспечивают мою жизнедеятельность. Копия этого рецепта записана в каждую из десятков миллиардов клеток, из которых я сегодня состою. Каждая из них знает, как меня изготовить; только во вторую очередь она может быть клеткой моей печени или моей крови, но в первую очередь это клетка меня. Так что теоретически возможно из каждой такой клетки изготовить идентичного мне индивида" (проф. А. Жакар).

Проекция и погребение в зеркале генетического кода. Нет протеза лучше ДНК, нет лучшего нарциссического расширения, чем этот новый образ, предложенный современному человеку вместо и на место его зеркального отражения: его молекулярная формула. Здесь-то и обнаруживается его "истина" — в бесконечном повторении его "реального", биологического существа. Этот нарциссизм, для которого зеркало уже не источник, но формула, есть таким образом чудовищная пародия на *миф о Нарциссе*. Нарциссизм холодный, холодное самообольщение, ни малейшего отклонения, которое давало бы еще живому существу переживать себя как иллюзию: матери-

288

ализация реального, биологического двойника в клоне пресекает возможность игры со своим образом и отражением, игры со смертью своей в этом образе-двойнике.

Двойник — воображаемая фигура (душа, тень, зеркальное отражение), преследующая субъекта как его едва уловимая, но всегда поддающаяся заклятью смерть. Материализация двойника делает смерть неотвратимой — и это фантастическое предположение реализовано сегодня буквально благодаря клонированию: клон есть фигура смерти как таковая, но без той символической иллюзорности, что составляет ее обаяние.

Отношение субъекта к самому себе отличает некая интимность, покоящаяся на нематериальности, бесплотности его двойника, на том, что двойник является и остается фантазмом. Каждый может и должен был всю жизнь мечтать о совершенном удвоении или размножении своего существа, но все это имеет силу грезы и разрушается желанием насильственно перенести грезу в реальность. То же самое относится к "изначальной сцене", как и к сцене соращения: они работают лишь пока остаются фантазией, смутным воспоминанием, но отнюдь не реальностью. Нашей эпохе свойственно стремление реализовать эту фантазию, как и многие другие, и совершенно абсурдным образом променять игру двойника, утонченного обмена смертью с другим, на вековечность тождественного.

Мечта о вечном близнечестве, подменяющем половую прокреаций. Одноклеточная мечта о размножении

289

делением — самой надежной форме родительства, поскольку она позволяет обойтись без другого и перейти непосредственно от тождественного к тождественному (пока еще, правда, дело не обходится без женской матки и зародышевой клетки, но это лишь недолговечная и анонимная подпорка, которую вскоре легко заменит какой-нибудь протез женщины). Одноклеточная утопия, устами генетики зовущая сложные организмы принять судьбу простейших.

Разве не влечение смерти толкает одаренные полом существа к форме воспроизводства, предшествующей разделению по половым признакам (впрочем, разве эта форма размножения, это клеточное деление, эта пролиферация по принципу смежности, которая для нас — смерть, не скрыта в самых глубинах нашего воображаемого: нечто отрицающее сексуальность и желающее ее уничтожения, поскольку она носительница жизни, а значит, критической и смертельно опасной формы воспроизводства?), — и разве не это же влечение толкает их одновременно к отрицанию всякой инаковости, полагая им единственной целью увековечение тождества, прозрачности генетической записи, уже не обреченной никаким превращениям процесса порождения?

Оставим влечение смерти. Быть может, речь идет о фантазме самопорождения? Нет, потому что субъект может, конечно, грезить об устранении родительских фигур, подставляя себя на их место, но совсем не обязательно при этом отрицать символическую структуру про-

290

креации: стать своим собственным ребенком — это все еще оставаться чьим-то ребенком. Клонирование же ликвидирует необходимость не только в Матери, но и в Отце, в сплетении их генов, переплетении их различий, но прежде всего — в той подлинной *дуэли*, какой является процесс порождения. Клон не рождается — он отпочковывается, выделяется из сегмента. Можно сколько угодно рассуждать об этих растительных ветвлениях, которые на самом деле разрешают всякую эдиповскую сексуальность в некий "нечеловеческий" пол, — фактом остается, что Отец и Мать исчезли, уступив место *матрице, именуемой кодом*. Матрица взамен матери. Она-то, матрица генетического кода, и будет отныне "порождать" — до бесконечности, оперативно, зная не зная никакой алеаторной сексуальности.

Субъект тоже перестает существовать, поскольку идентичная редупликация кладет конец его разделенности. Стадия зеркала ликвидируется, вернее чудовищным образом пародируется. Конец незабвенной фантазии нарциссической проекции субъекта, поскольку ей не обойтись без зеркала, в котором субъект отчуждается, чтобы затем снова найти самого себя, — в которое он смотрится, чтобы умереть в собственном отражении. Потому что зеркало отошло в прошлое: индустриальный объект — уже не зеркало следующего в серии идентичного объекта. Они уже не могут быть друг другу миражами, идеальными или смертоносными, они только и могут, что складываться один с другим, и причина этого

291

бесконечного сложения — неучастие сексуальности в их порождении и их незнание смерти.

Сегмент для своего воспроизводства нуждается в посредстве воображаемого не больше, чем земляной червь:

каждый сегмент червя непосредственно воспроизводится как новый законченный червь — каждая клетка американского индустриала может дать нового индустриала. Точно так же каждый фрагмент голограммы может стать матрицей целиком идентичной голограммы: информация в полном объеме сохраняется в каждом из разрозненных фрагментов.

Так приходит конец тотальности: если вся информация содержится в каждой из частей, тогда составляемая ими целостность теряет всякий смысл. Это также конец тела, единичности, зовущейся телом, чей секрет в том, что оно не может быть сегментировано на клетки, ибо является не простой суммой сегментов, но неделимой конфигурацией, свидетельство чему — печать пола. Парадокс вроде как: клонирование будет производить существа, отмеченные полом, поскольку подобные своим моделям, и в то же время пол делается тем самым совершенно бесполезной функцией — но пол как раз *не* функция, это то, что превосходит все части и все функции тела. Это то, что превосходит любую информацию, которая может быть собрана на этом теле. А генетическая формула как раз и претендует на сбор всей этой информации воедино. Вот поэтому она только и может, что проложить путь автономному типу

292

воспроизводства, независимому как от пола, так и от смерти.

Уже биофизиоанатомическая наука препарированием органов и функций положила начало процессу аналитического разложения тела. Микромолекулярная генетика, явившись логическим следствием этого, поднялась на куда более высокую по степени абстракции и симуляции ступень: от ядерного уровня командной клетки-ячейки до ведущего плана генетического кода, вокруг которого и вертится вся эта фантазмагория.

В механистической картине каждый орган представлялся еще лишь частичным и дифференцированным протезом: "традиционная" симуляция. В биокибернетической картине любая клетка, мельчайший недифференцированный элемент, становится эмбриональным протезом тела. Подлинным современным протезом всех тел становится формула, записанная в каждой клетке. Ведь если, вообще говоря, протез есть артефакт, заменяющий недостающий орган, или же инструментальное продолжение тела, то молекула ДНК, которая заключает в себе всю относящуюся к живому существу информацию, есть протез в высшем и наиболее полном смысле, поскольку она позволяет этому живому существу продолжить себя до бесконечности самим собой — превращая его тем самым в бесконечную вереницу его собственных кибернетических перевоплощений.

293

Протез куда более искусственный, нежели любой механический протез. Потому что генетический код не является чем-то "естественным". Как всякая абстрагированная от целого и получившая автономию часть, искажающая это целое в попытке подменить его собою (этимологический смысл слова "протез"), так и генетический код, в котором сконденсирована якобы целостность живого существа, поскольку здесь заключена вся "информация" о нем (невероятное насилие генетической симуляции), есть артефакт — искусственная матрица, матрица симуляции, откуда уже даже не воспроизводством, но лишь простым *продлением* выводятся идентичные существа, подчиняющиеся одним и тем же командам.

Клонирование, таким образом, есть предельная стадия симуляции тела, на которой индивид, сведенный к своей абстрактной генетической формуле, обречен на серийную демультипликацию. По словам Вальтера Беньямина, произведение искусства в эпоху своей технической воспроизводимости теряет свою "ауру", это неповторимое качество "здесь и сейчас", свою эстетическую форму: от судьбы обольщения оно переходит к судьбе воспроизводства и с этой новой участью приобретает *политическую* форму. Оригинал утерян, только ностальгия может восстановить его как нечто "аутентичное". Свою предельную форму процесс этот принимает в современных средствах массовой информации: оригинал

294

вообще уже не имеет места, вещи изначально задумываются и рассматриваются в свете их дальнейшего неограниченного воспроизведения.

Именно это приносит клонирование человеческому существу. Именно это происходит с телом, когда оно начинает рассматриваться исключительно как база данных и пакет сообщений, как некая информационная субстанция. Тогда уже ничто не может помешать его серийному воспроизведению в том же смысле, в каком Бенъямин говорил о воспроизведении промышленных предметов и изображений. Прецедент генетической модели на всех возможных телах.

Этот переворот обусловлен нашествием технологии — технологии, которую уже Бенъямин описывал как тотальное информационное средство — гигантский протез, управляющий генерацией идентичных *объектов* и образов, которые больше ничто не может отличить друг от друга, — но не представляя еще современное развитие и углубление этой технологии, допускающее генерацию идентичных *сущест*, притом что возвращение к оригиналу невозможно. Протезы индустриального века были еще чисто внешними, *экзотехническими* — мы же сталкиваемся с разветвленными, ушедшими внутрь *эзотехническими* протезами.

Мы живем в век мягких технологий, генетического и ментального софта. Протезы индустриального века, машины, еще возвращались к телу, чтобы модифицировать его образ — они метаболизировались в воображаемом,

и
295

этот метаболизм был частью телесного образа. Но когда достигнута уже точка невозвращения в пространстве симуляции, когда протезы просачиваются в анонимную микромолекулярную сердцевину тела, когда они навязывают себя телу в качестве матрицы, сжигая все последующие символические цепи, так что любое возможное тело оказывается лишь своим собственным неизменным повторением, — тогда телу и его истории приходит конец: человеческий индивид отныне не более как *раковый метастаз своей базисной формулы*.

Разве есть принципиальная разница между клонированием энного количества индивидов из такого-то индивида X и пролиферацией какой-то одной многократно разделившейся клетки, например раковой? Налицо тесная связь между самым понятием генетического кода и раковой патологией. Код обозначает минимальную формулу, к каковой может быть сведен в своей совокупности человеческий индивид, которому остается только без конца повторять самого себя. Рак обозначает бесконтрольное деление и размножение клетки одного и того же типа без учета органических законов целого. То же при клонировании: продление Тожественного, пролиферация одной-единственной матрицы. Когда-то этому противилось еще половое воспроизводство, сегодня же появилась наконец возможность изолировать генетическую матрицу личности и устранить все дифференциальные превратности, составлявшие алеаторное обаяние индивидов. Их соблазн?

296

Начав с индустриальных объектов, метастаз захватил сегодня клеточную организацию. Ведь рак на самом деле болезнь, определяющая всю современную патологию, потому что она есть *сама форма вирулентности кода*: обостренная избыточность одних и тех же сигналов, обостренная избыточность одних и тех же клеток.

Таким образом, клонирование более чем соответствует необратимому предприятию по "растяжению и углублению прозрачности системы для нее самой путем увеличения ее возможностей по саморегулированию и модификации ее информационной экономии" (Керсола).

Всякое влечение подлежит лечению и искоренению. Все внутреннее (системы, функции, органы, сознательные и бессознательные контуры) выводится наружу в форме протезов, образующих вокруг тела идеальный спутниковый корпус, причем само тело становится спутником. Всякое ядро выдирается и запускается в это сателлитное пространство.

Клон

Клон — материализация генетической формулы в форме человеческого существа. И ведь на этом дело не остановится. Все тайны тела, пол, тревога, даже неуловимая радость жизни, все, что вы о себе не знаете и знать не желаете, — все будет смодулировано в некий био-feed-back, будет отослано вам в форме "инкорпорированной" цифровой информации. Это *бионическая стадия зеркала* (Керсола).

297

Дигитальность Нарцисса вместо Эдипова треугольника. Ипостась искусственного двойника, клон будет отныне вашим ангелом-хранителем, зримой формой вашего бессознательного и плотью от плоти вашей, *буквально и без метафор*. "Ближним" твоим будет отныне этот клон, похожий на тебя как две капли, так что никогда уже не быть тебе в одиночестве, никогда уже не иметь секретов. "Возлюби ближнего твоего как себя самого" — эта старинная евангельская проблема решена: ближний — *ты сам*. И тотальная любовь. Тотальное самообольщение.

Массы тоже представляют собой клонический агрегат, работающий от тождественного к тождественному, без обращения к иному. По сути, они не более чем сумма терминалов всех возможных систем — сеть, наполненная цифровыми импульсами, — это и образует массу. Нечувствительные к внешним командам, они составляют в интегральные схемы, открытые для манипуляции (автоманипуляции) и "обольщения" (самообольщения).

В действительности никто больше не знает, как функционирует механизм представительства, ни даже — существует ли еще таковой. При этом все более настоятельной ощущается необходимость рационального осмысления того, что может происходить во вселенной симуляции. Что же, собственно, происходит между от-

298

существующим, гипотетическим полюсом власти и нейтральным, неуловимым полюсом масс? Ответ: есть кой-какой соблазн, и кое-кто на него клюет.

Но этот соблазн коннотирует лишь некое действие социального, в котором никто уже ничего не понимает, или политического, чья структура давно испарилась. На их месте соблазн очерчивает необъятное белое пятно территории, заполняемой остывающими потоками слов, пятно послушно прогибающейся сети, покрытой смазкой магнитных импульсов. Властью никого больше не проведешь — цепляет то, что завораживает. Никто не клюет на производство: соблазн — вот, на что попадают. Но и сам этот соблазн уже абсолютно пустой разговор, одна симуляция понятия. Рассуждения как самих "стратегов" желания масс (Жискар, рекламщики, ведущие, диджеи, human and mental engineers и т.п.), так и "аналитиков" этой стратегии, дискурс, описывающий в терминах соблазна механизм работы социального, политического или того, что от них осталось, настолько же пуст, как и само пространство политического: он просто преломляет его в пустоте. "Средства массовой информации обольщают массы", "массы сами себя обольщают": какое суесловие, как фантастически подобные формулировки принижают понятие соблазна, заглушая его буквальный смысл, очарование и смертоносные чары, ради того чтобы представить в банальном значении социальной смазки или техники релаксированных отношений — сладкая семиургия, мягкая технология. В та-

299

ком случае соблазн благополучно увязывается с экологией и с общим переходом от стадии жестких энергий к стадии мягких. Сладкая энергия, мягкий соблазн. Социальное посередке.

Пересмотренный и исправленный идеологией желания, этот рассеянный, экстенсивный соблазн ничего общего не имеет с аристократическим соблазном дуально-дуэльных отношений. Психологизация соблазна:

результат его опошления с того момента, как над Западом воздвиглась воображаемая фигура желания.

Конечно, не господа вообразили эту фигуру — исторически она была порождением подвластных, сложившись под знаком их освобождения, и провалы революций раз за разом только укрепляли ее. Форма желания запечатляет и скрепляет исторический переход поработанных от статуса вещи или объекта к статусу субъекта или подданного, но сам по себе этот переход не более как утонченное и глубоко запавшее увековечение строя рабства. Первые проблески субъективности масс на заре современности, на заре революций — первые признаки самоуправляемого рабства субъектов и масс под знаком их собственного желания! Начало большого обольщения: вещь можно просто владеть — субъекта желания можно соблазнить.

Так начала разворачиваться в социальном и историческом плане эта мягкая стратегия.

Массы психологи-

300

зируются, чтобы быть обольщенными. На них напояливают желание, чтобы отвлечь от него и совратить. Прежде они отчуждались — это когда у них было сознание (мистифицированное!), — сегодня обольщаются, потому как у них есть бессознательное и желание (увы — такое вытесненное и заблудшее!). Прежде они отвлекались от истины истории (революционной) — сегодня отвлекаются от истины собственного желания. Бедные массы, жертвы обольщения и манипулирования! Их заставляли сносить господство грубым насилием — их заставляют принимать его силой соблазна.

Вообще говоря, эта теоретическая галлюцинация желания, эта рассеянная либидинальная психология служит как бы задним планом для повсеместно циркулирующего симулякра соблазна. Сменяя пространство контроля и надзора, она отмечает уязвимость индивидов и масс мягким командам. Примешанная в гомеопатических дозах ко всем социальным и личностным отношениям, соблазнительная тень этого дискурса распласталась сегодня над пустошью социального отношения как такового и самой власти.

В этом смысле наш век — век соблазна. Но речь уже не идет о той форме потенциально всепоглощающей страсти, о той угрозе полной абсорбции, от которой ничто реальное, ни один субъект не застрахованы, о смертоносном отрыве, увлекающем все и вся (быть может,

301

просто реального осталось не так много, чтобы еще отвлекать его куда-то, "сворачивать" — быть может, и истина неистребима по той простой причине, что ее слишком мало), — речь даже не идет о сворачивании невинности и добродетели (для этого уже недостаточно ни нравственности, ни извращенности) — сегодня остается лишь оболъщение... ради оболъщения? "Соблазните меня". "Дайте-ка мне вас соблазнить". Оболъщение — то, что остается, когда ставки — все ставки — взяты назад. Уже не насилие над смыслом или его молчаливая экстерминация, но та форма, которая остается у языка, когда ему нечего больше сказать. Уже не головокружительная утрата, но лишь толика удовлетворения, которым носители языка вяло насыщают друг друга в релаксированном социальном отношении. "Соблазните меня". "Дайте-ка мне вас соблазнить".

В этом смысле оболъщение проникает повсюду, украдкой или в открытую, сливаясь с эмбиентом, с вещанием, с простым и чистым обменом. Оно в отношениях учителя и ученика (я тебя соблазняю, ты меня соблазняешь, делать-то больше нечего), психоаналитика и пациента, политика и избирателей, соблазн власти (ах, соблазн власти и власть соблазна!) и т.д.

Еще иезуиты прославились своим умением использовать оболъщение в религиозных формах: в результате людские толпы, уступившие мирскому, эстетическому соблазну барокко, были возвращены в лоно римско-католической церкви, а власть имущие, через женщин и

302

общее смягчение нравов, снова отдали свои сердца вере. Иезуиты фактически явили первый современный пример общества массового обольщения, стратегии желания масс. Они немало преуспели, и вполне возможно, что изгнание суровых чар политической экономии и производственного капитализма, завершение пуританского цикла капитала, открывает католическую, иезуитскую эру мягкой, сладкой семиургии, мягкой технологии обольщения.

Речь идет не о соблазне как страсти, но о *запросе на соблазн*. О призыве желания и его исполнения на место и взамен всех отсутствующих отношений (власти, знания, любви, перенесения). Какая уж тут диалектика господина и раба, когда господин соблазняется рабом, а раб — господином. Соблазн теперь не более как истечение различий, либидинальный листопад дискурсов. Расплывчатое пересечение спроса и предложения, *соблазн теперь всего лишь меновая стоимость*, он способствует торговому обороту и служит смазкой для социальных отношений.

Что осталось от колдовского лабиринта, где теряются навеки, что осталось хотя бы от обманного соблазна? "Есть и другой вид насилия, который ни по имени, ни по внешнему виду таковым не является, но оттого не менее опасен: я имею в виду обольщение" (Роллен). Традиционно обольститель считался обманщиком и самозванцем, который прибегает к разного рода низким уловкам ради достижения собственных целей, который

303

верит в это — потому что, как ни странно, жертва, позволив себя обольстить, поддавшись на обман, зачастую сводила его к нулю и лишала обольстителя всякого контроля, так что тот попадался в расставленные им самим сети, не рассчитав обратной силы любого обольщения. Так всегда бывает: желающий кому-то понравиться предпринимает что-либо, уже поддавшись чарам предполагаемой жертвы. На этом основании любая религия, любая культура могут быть организованы вокруг не производственных, но *обольстительных отношений*. Греческие боги, соблазнитель/обманщики, пользовались своей властью, чтобы обольщать людей, но и сами обольщались в ответ — подчас весь смысл их существования сводился к одной главной задаче — обольщению людей. В этой картине мироустройства нет места ни закону, управляющему христианской вселенной, ни политической экономии: мир греческих богов управляется отношением взаимного обольщения, обеспечивающим *символическое* равновесие между богами и людьми.

Что осталось от этого насилия, попадающего в свои собственные силки? Конец вселенной, в которой боги и люди старались понравиться друг другу любой ценой, включая и насильственный соблазн жертвоприношения. Конец тайному знанию знаков и аналогий, которое составляло чарующую силу магии, конец пониманию окружающего как мира, целиком и полностью обратимого в знаки и восприимчивого к соблазну, вклю-

304

чая сюда не только богов, но также неодушевленные существа, мертвую природу, самих мертвых, которых всегда требовалось обольщать и заклинать многочисленными ритуалами, очаровывать их знаками, чтобы помешать вредить живым... Сегодня с мертвыми каждый управляется в одиночку, перерабатывает зловещим "трудом траура", нацеленным на их реконверсию и рециркуляцию. Вселенная превратилась во вселенную сил и силовых отношений, материализованную в пустоте как объект господства и подчинения, но не обольщения. Вселенная производства, освобождения энергий, инвестиций и контринвестиций, вселенная Закона и объективных законов, вселенная диалектики господина и раба.

Сама сексуальность родилась из этой вселенной как одна из ее объективных функций: сегодня она стремится подмять под себя их все, подменив в качестве альтернативной цели все прочие, вышедшие или выходящие из употребления. Все сексуализируется, обретая таким образом простор для игры и приключения. Повсюду говорит *оно*, все дискурсы превращаются в нескончаемый комментарий к сексу и желанию. В этом смысле можно сказать, что все дискурсы сделались дискурсами соблазна: в них вписан недвусмысленный запрос на соблазн, но речь идет о соблазне мягком, о приглушенном процессе обольщения, ставшем синонимом стольких других вещей — манипуляции, убеждения, удовлетворения, эмбиента, стратегии желания, мисти-

305

ки отношений, легкой трансферной экономики, пришедшей на смену конкурентной экономике силовых отношений. Обольщение, инвестирующее таким образом все языковое пространство, имеет ровно столько же смысла и содержания, как и власть, инвестирующая все закоулки социальной сети, — вот почему сегодня их дискурсы смешиваются с такой легкостью. Выродившийся метаязык обольщения, смешанный с выродившимся метаязыком политики, повсюду действенный (или абсолютно неработающий, все равно: достаточно лишь выработать консенсус относительно *симулятивной модели обольщения* — что-нибудь вроде создающего настроение эффекта струящейся речи и желания, как и для обеспечения иллюзии социального достаточно просто наладить циркуляцию расплывчатого метаязыка сопричастности).

Дискурс симуляции не обман: он довольствуется обыгрыванием соблазна под видом симулякра аффекта, симулякра желания и инвестирования в мире, где жестоко ощущается потребность в нем. Между тем как "силовые отношения" никогда (разве что с точки зрения марксистского идеализма) не объясняли перипетий власти в паноптическую эпоху, так же, тем более, и соблазн или отношения соблазна не объясняют нынешних перипетий политики. Если все попадает на соблазн, то уж не на этот, размягченный, пересмотрен-

306

ный идеологией желания, а на соблазн-вызов, дуэльный, антагонистический, на максимальную ставку, пусть даже она остается тайной, тогда как стратегия игр мало кого обманет, — соблазн мифический, а не этот, психологический и операционный, соблазн холодный и минимальный.

Соблазн — это судьба

Или же мы должны думать, что чистая форма и есть этот рассеянный соблазн без очарования и азарта, этот призрак соблазна, населяющий наши коммуникации без тайны, наши фантазии без аффектов, наши контактные линии без контакта? Типа того, что чистая форма театра — это современный хэппенинг о сопричастности и экспрессии, откуда исчезли сцена и магия сцены? Типа как чистая форма живописи и искусства вообще — это гипотетическое, гиперреальное охаживание реальности — *acting pictures, land-art, body-art*, — откуда исчезли предмет, рамка и сценическая иллюзия?

Мы, правда, живем среди чистых форм, в радикальной, поскольку видимой и обезразличенной, непристойности некогда тайных и различных фигур. То же самое приключилось с социальным, которое сегодня также, как правило, существует в своей чистой форме, т.е. непристойной и пустой, — то же самое с соблазном, который в своем нынешнем виде утрачивает алеаторику, напряженность, колдовство, чтобы облечься взамен формой легкой и безразличной непристойности.

308

Имеет смысл сослаться на генеалогическую схему, которую Вальтер Беньямин применяет к творению искусства и его судьбе. Итак, первоначально творение имеет статус *ритуального* объекта, вовлеченного в древнейшую форму культа. Впоследствии, в системе меньших обязательств, оно принимает культурную и *эстетическую* форму: здесь все еще отмечается его уникальное качество, но это уже не имманентная уникальность ритуального объекта, а скорее трансцендентная и индивидуализированная. И эта эстетическая форма, в свою очередь, уступает место форме *политической*, означающей исчезновение творения искусства как такового в стихии технического воспроизводства: это его судьба, и судьба неизбежная. Ритуальная форма не знает оригинала (священное не заботит эстетическая оригинальность культовых объектов) — в политической форме оригинал снова пропадает: из объектов здесь остаются только размноженные копии, но никакого оригинала больше нет. Политическая форма соответствует максимальной степени циркуляции этих объектов и их минимальной интенсивности. Так и соблазну, должно быть, известны три фазы: ритуальная (дуальная, магическая, агонистическая), затем эстетическая (отраженная в "эстетической стратегии" Обольстителя, тут орбита соблазна сближается со сферой женственности и сексуальности, иронического и дьявольского, тогда-то и получает он подразумеваемый нами смысл совращения, ухищрения, нечаянно прокля-

309

той игры видимостей) и, наконец, "политическая" (приняв Беньяминов термин, здесь несколько двусмысленный), фаза полного исчезновения оригинала соблазна, его ритуальной, равно как эстетической формы, что играет на его тотальное распыление, когда соблазн становится *неформальной формой политического*, мельтешащим растром неуловимого политического, обреченного на нескончаемое воспроизведение одной формы без содержания. (Эта неформальная форма неотделима от техничности: техничность сетей, в точности как политическая форма объекта неотделима от техники серийного воспроизведения.) Как и в случае объекта, эта "политическая" форма соответствует максимальной степени диффузии соблазна и его минимальной интенсивности.

В этом ли судьба соблазна? А что если против этой инволюционной судьбы поставить на соблазн как судьбу? Производство как судьба — или соблазн как судьба? Против глубинной истины — судьба видимости? Мы в любом случае живем посреди бессмыслицы, но симуляция — ее разочарованная форма, соблазн — очарованная.

Анатомия не судьба, политика тоже нет: соблазн — вот судьба. Это то, что осталось от судьбы, от азарта, от колдовства, от предначертаний и умопомрачения, это остаток безмолвной действенности в заигранном мире видимой эффективности.

310

Мир гол, король гол, все вещи ясней ясного. Все производство и сама истина стремятся к этому оголению, отсюда же и недавно пожатая невыносимая "истина" пола. К счастью, глубоко дело не заходит, и опять-таки это соблазн, в его власти удерживается сивиллин ключ от самой истины, а именно что, "может быть, мы желаем разоблачить ее потому только, что так трудно вообразить ее себе нагой".

От переводчика

Соблазн как уникальная форма — просто форма, без определения, не культурная и не природная, но всеобщая и самодостаточная. "Нужно храбро оставаться у поверхности, у складки, у кожи, поклоняться иллюзии, верить в формы, звуки, слова, в весь Олимп иллюзии!" (Ницше).

Seduction: налет чарующих видимостей, "златотканый покров прекрасных возможностей" (Ницше), наброшенный на суровую правду жизни — на топорную истину желанья, пола, всего на свете — истину как таковую: "Мы больше не верим тому, что истина остается истиной, если снимают с нее покров", — снова Ницше, чье "Wir, Kiinstler!" слышится буквально на каждой странице "Соблазна".

Соблазн вездесущ: он в красоте и уродстве, добре и зле, прямолинейности и уклончивости — любую похоть соблазн способен оплести своим кружевом, зажечь обольстительным лоском и включить в свою игру — обратив в искушение приманки.

Приманка же, как известно, не что иное, как чистая видимость, не скрывающая под собой никакой сути,

313

никакой правды, никакого глубинного смысла. Никакой глубины — в пространстве соблазна всегда недостает одного измерения — есть "только" внешность, есть лишь поверхность, складка, кожа. И никакой проникновенности, никакой герменевтики - все это признак отсутствия вкуса, отсутствия такта, неумения чувствовать кожей. Поддаться соблазну, но не продаться искусителю — для этого нужно пасхальное искусство прохождения мимо.

Ведь так или иначе на приманку соблазна неминуемо попадают — и пропадают: восхищенные мерцающей, искрящейся, соблазнительной поверхностью, мы вдруг чувствуем, как почва уходит из-под ног и начинается медленное — или же стремительное, но в любом случае умопомрачительное — падение в никуда, в бездонную пропасть отсутствующего смысла, отсутствия как такового, смерти, ничто.

Такова игра соблазна — жестокая, наверное, но всегда утонченная, изощренная, отточенная в бесконечно разнообразных ритуальных практиках. Прежде всего, конечно, в практике любовного обольщения. Слишком легко здесь можно забуться, позабыть о роковом качестве соблазна, о том, что соблазн — это судьба. Не анатомия, но соблазн - это он ведет игру, а обольстители, мужчина или женщина, только подыгрывают, они лишь актеры в этом иератическом театре жестокости, во всех смыслах затмевающим натужную истину желания, истину секса и оргазма, производства и потребления.

314

Это безличное ритуальное действие, в котором, как и во всякой азартной игре, главное не выигрыш в виде распаленной жертвы и приличной случаю консумации, но головокружительное скольжение в водовороте игры — бесконечно возобновляемой, но неизменно оборачивающейся игрой с конечностью — игрой со смертью. Ее форма — витое "кольцо колец вечного возвращения" с одним-единственным, заостренным краем, ее формула — рекуррентный и рекурсивный цикл, всеобъемлющий и безвыходный.

Игра нескончаемая, но в любой момент смертельно рискованная: у нее нет никакой "цели" - есть лишь ставки, есть лишь вызов партнеру, который тот обязан принять и бросить в ответ уже своим вызовом: удвоить ставку. Никакого диалога, никакой диалектики, никаких пауз — в этом захватывающем поединке выпад предупреждается парирующим ударом, вопрос предвосхищается ответом, позиции смысла — мысли, слова, поступки, — эллиптически скраденные или взорванные анаколуфой, предугадываются, но и предначертываются в легких, танцевальных позах. Ставки в этой игре повышаются до бесконечности: таков ее неповторимый стиль — как и стиль "Соблазна".

Соблазн — всеобъемлющая форма, всеобъемлющий ритуал в том смысле, что захватывает не только любовные игры, но буквально все на свете. Все может соблазнять или быть соблазненным - люди, животные, вещи, даже мертвые - даже сама смерть. Любой обряд перехо-

315

да — не что иное, как соблазнительная игра со смертью. К переводу это тоже относится — к переводу как ритуалу. Конечно, перевод "Соблазна" только так и мог быть построен. Но по каким правилам?

"Словесное тело не позволяет перевести, ни перенести себя в другой язык. Оно именно то, что перевод роняет. Стремление избавиться от тела — это вообще основное, что заряжает перевод энергией. Когда он поднимает павшее, это уже поэзия" (Ж Деррида). И не просто поэзия, особенно когда поднять требуется "холодное и бледное", согласно сартровской аутопсии, тело французского языка. Здесь не обойтись без заклинаний, без магии, без обольщения.

Любой перевод стилистически оформленных текстов с французского на более "горячие" языки — русский, тем более английский, может даже немецкий, — неизбежно сталкивается с этим вызовом, и если игнорирует его, то остается в лучшем случае просто тусклым, приглаженным подстрочником. Для перевода "Соблазна" — для перевода соблазна этой книги — требовалось бросить ответный вызов: обольщением "оригинального текста", обоюдоострым соблазном перевода.

Ведь при всей своей холодности, скупости, расчетливости французский по-настоящему танцевальный язык и умеет танцевать с непередаваемым изяществом, с почти недоступной другим языкам страстью. Лексическая скудость его с избытком восполняется изысканным богатством ритмического рисунка. Передать этот

316

рисунок в русском переводе практически невозможно (как, например, перевести словосочетание *effet fascinant*? "запораживающее воздействие"? подсчитайте-ка слоги — длинношеее чудище русских причастий неизбежно будет тормозить танец текста). Конечно, в чисто литературном тексте можно подстановками свести к минимуму употребление "тяжелых" слов и сочетаний, но в философском необходимо в первую очередь сберечь систему ключевых понятий, а это резко ограничивает возможности подстановки.

Выход из положения: ритмика оригинала симулируется, насколько это возможно (двустопные размеры взамен трехстопных, мужские каденции взамен женских и т.п.), но, как правило, компенсируется на лексическом уровне, причем лексика организуется в многоплановую мелодическую фактуру - полифоническую или даже политональную. Так решаются сразу две задачи: эмулируется ритмическое разнообразие оригинала и проясняется, переосмысливается, переманивается в другой язык понятийная система.

Так, в партитуре перевода "Соблазна" один голос, одна тональность отдает предпочтение латинизмам и калькам, в то время как другой, напротив, старается их всячески избегать. Понятно, что при таком изложении должны спонтанно происходить более или менее соблазнительные модуляции и отклонения. Например, всегда остается возможность сохранить игру слов с латинскими корнями и в то же время передать ее в параллель-

317

ной, иноязычной тональности. При более внимательном рассмотрении несложно показать, что подобная переводческая стратегия отвечает мелодике "оригинала", в котором обнаруживается аналогичная полифония, но это уже относится к проблеме изначального перевода, перевода внутри одного и того же языка.

Ясно, что и чтение книги также не может ограничиваться одной-единственной тональностью. Моей, переводчика "Соблазна", обязанностью было предупредить читателя о некоторых особенностях и приманках перевода.

Другая очевидная обязанность — выразить свою признательность переводчикам, чьи тексты цитируются, более или менее дословно, в русской версии "Соблазна", прежде всего П. Ганзену за перевод "Дневника обольстителя" Киркегора, Е. Лысенко за перевод "Лотереи в Вавилоне" Борхеса, Ю. Антоновскому и К. Свасьяну за переводы Ницше; всем, кто поддерживал меня в работе, особенно А. Г., не дававшей мне забывать вкус соблазна.

Алексей Гараджа

Сканирование и форматирование: [Янко Слава](#) (Библиотека [Fort/Da](#)) ||
slavaaa@yandex.ru || yanko_slava@yahoo.com || <http://yanko.lib.ru> || Icq# 75088656 ||
Библиотека: <http://yanko.lib.ru/gum.html> || Номера страниц -
update 09.05.06

WWW

<http://dir.yahoo.com/Arts/Humanities/Philosophy/Philosophers/Baudrillard/Jean>

/

<http://www.uta.edu/english/cgb/aud.html>

<http://www.uta.edu/english/cgb/aud1.html>

Коллекция "Философия по краям"
литература/искусство/политика

Редакционный совет серии:

С. Бак-Морс (США) Ф. Гваттари Т (Франция) Ж. Деррида (Франция) Ф. Джеймисон (США)
Л. Ионин (Россия) М. Мамардашвили Т (Грузия) Ж.-Л. Нанси (Франция) Е. Петровская
(Россия) — *научный секретарь* В. Подорога (Россия) — *председатель* А. Руткевич (Россия)
М, Рыклин (Россия) — *заместитель председателя* М. Ямпольский (США)

Жан Бодрийяр

Соблазн

художественное оформление А. Бондаренко

корректор Н.Щигорева

компьютерная верстка М. Терещенко

Подписано в печать 01.09.2000. Формат издания 70x108 1/32. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Гарнитура «Ньютон». Усл. печ. л. 14,0. Тираж 5 000 экз. Заказ №
319.

Издательская фирма "Ad Marginem" 113184, 1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7,
тел./факс 951-93-60 e-mail: ad-marg@rinet.ru ЛРН№ 030870 от 10.01.99.

Отпечатано с готовых оригинал-макетов на ГИПП «Уральский
рабочий», 620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

Сканирование и форматирование: [Янко Слава](#) (Библиотека [Fort/Da](#)) ||
slavaaa@yandex.ru || yanko_slava@yahoo.com || <http://yanko.lib.ru> || Icq# 75088656 ||
Библиотека: <http://yanko.lib.ru/gum.html> || Номера страниц -
update 09.05.06
